

**ЗДРАВСТВУЙ,  
ПЛЕМЯ МЛАДОЕ,  
НЕЗНАКОМОЕ !**

ПРОЗА «РЕЗОНАНС»



Коллектив авторов

**Здравствуй, племя  
младое, незнакомое!**

«ИТРК»

## Коллектив авторов

Здравствуй, племя младое, незнакомое! / Коллектив авторов — «ИТРК»,

«Проза „Резонанс“ – первая в XXI веке и третьем тысячелетии антология рассказов молодых писателей России. Молодых не только по возрасту, но и по времени вступления в литературу в последнее роковое десятилетие ушедшего века. Многие из публикуемых рассказов впервые прозвучали по „Радио «Резонанс“ и были замечены радиослушателями. По их оценкам, рассказы, включенные в антологию отражают реальность сегодняшней смутной и неустроенной жизни для большинства людей России. Читателям судить, кто из этого молодого и пока еще незнакомого племени станет наследником великих традиций русской литературы XIX и XX веков. Антологией рассказов «Проза „Резонанс“ издательство ИТРК открывает новую книжную серию „Россия молодая“. Для массового читателя. Содержание

Виктор Калугин «ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕ...» Вячеслав Дёгтев ПСЫ ВОЙНЫ; ШТО ПОРА Андрей Воронцов ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОРАЖЕНИЯ Лидия Сычёва ЖУРАВЛИ Михаил Волостнов «И ТУТ ОСТАВАЙСЯ, И С НАМИ ПОЙДЕМ...»; БАЙНИК ДА БАННИХА; КУМАЖА Петр Илюшкин ГЕРОИНОВЫЙ СЛЕД СОВЫ Александр Тутов ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОИН Михаил Тарковский ОСЕНЬ; ВЕТЕР; ОХОТА Владимир Новиков ВИТЯНЯ-НЯНЯ Александр Лысков НАТКА-ДЕМОКРАТКА; СВОБОДА, ГОВОРИШЬ? Владимир Пронский ЗАКЛЕВАЛИ; КОНОПЛЯ Игорь Штокман РОМОДИН И ГАЗИБАН; ВО ДВОРЕ, ГДЕ КАЖДЫЙ ВЕЧЕР Ольга Шевченко ФЕДОСЕЕВ И ФИДЕЛЬ Сергей Шаргунов РАСКУЛАЧЕННЫЙ; ЧУЖАЯ РЕЧЬ; ГОРОДСКОЕ ЛЕТО Александр Игумнов КСЮША Роман Сенчин ОБОРВАННЫЙ КАЛЕНДАРЬ Евгений Шишкин ЧЁРНАЯ СИЛА Валерий Латынин НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ; АПА; ИСААлесь Кожедуб ЗАРДАК Нина Алёшина ШУТКА Александр Громов ТЕРПКОЕ ЛЕГКОЕ ВИНОВА Валерий Курилов ЗАПАХ ЖЖЕНОГО ПЛАСТИЛИНА Александр Антипин ДЕД Сергей Белогуров БАЛКАНСКАЯ БАЛЛАДА Нина Черепенникова ЦВЕТОЧЕК МОЙ АЛЕНЬКИЙ...

(ИСПОВЕДЬ КОММЕРСАНТА) Владимир Федоров КРЕЩЕНИЕ РУССКИМ  
«КЛОНДАЙКОМ»; ПАСЫНКИ ЯНВАРЯ

© Коллектив авторов

© ИТРК

## Содержание

«ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕ!»	6
Вячеслав Дёгтев	9
ПСЫ ВОЙНЫ	10
ШТОПОР	14
Андрей Воронцов	17
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОРАЖЕНИЯ	18
Лидия Сычёва	34
ЖУРАВЛИ	35
I	35
II	36
III	37
Михаил Волостнов	39
«И ТУТ ОСТАВАЙСЯ, И С НАМИ ПОЙДЕМ...»	40
БАЙНИК ДА БАННИХА	47
КУМАЖА	50
Петр Илюшкин	60
ГЕРОИНОВЫЙ СЛЕД СОВЫ	61
Александр Тутов	65
ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОИН	66
Михаил Тарковский	72
ОСЕНЬ	73
ВЕТЕР	78
Конец ознакомительного фрагмента.	79

## Коллектив Авторыв

# Здравствуй, племя младое, знакомое!

### «ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕ!»

В 2002 году издательство ИТРК начало выпускать серию книг *«Российская проза на рубеже XX–XXI веков»*. Уже вышли *«Мгновения»* и *«Бермудский треугольник»* Юрия Бондарева, *«Избранное»* Василия Белова, готовятся к изданию произведения Михаила Алексеева, Виктора Лихоносова, Валентина Распутина и других прозаиков, которых мы по праву называем классиками русской литературы второй половины XX века. Но при этом невольно возникает вопрос: а где же имена преемников, молодых писателей?... Или правы критики-похоронники в том, что XX век подвел черту: Атлантида великой русской литературы ушла под воду. На поверхности остались лишь утлые лодчонки постмодернистов, один из которых так и заявил недавно: все писатели-реалисты обречены на смерть китов, останутся лишь мелкие ракушки...

Существует кинематографический прием превращения ящериц, муравьев и всякой другой твари в гигантских ящеров и чудовищ. Первые такие фильмы вызвали шок у зрителей, не ведавших о трюке, принимавших все за чистую монету. Нечто подобное происходит и в наших СМИ, создающих своих виртуальных «знаменитостей», вдалбливающих в сознание миллионов имена новой плеяды «гениев» постмодернизма.

Стоит напомнить, что и предшественники нынешних постмодернистов – модернисты точно так же вешали в начале XX века о смерти русского реализма, называя Толстого, Чехова, Бунина «последними из могикан». Появление в послереволюционной России нового мирового гения Шолохова никто не мог предсказать.

Будущее русской литературы – за реализмом. Это достаточно четко выразил в своем манифесте *«Отрицание траура»* двадцатилетний Сергей Шаргунов (*«Новый мир»*, 2001, № 12), провозгласивший **новый «русский ренессанс»**.

Один из несомненных лидеров современной русской прозы Вячеслав Дёгтев свой этюд *«Толстой и Шолохов. Современный писатель на фоне Льва Толстого»* закончил словами: «Толстой подхватил выроненное великим Пушкиным вещее и вящее перо, честнейшее перо России, достойно пронес его по второй половине XIX века и незримо передал это перо мальчику, пацану-вразжонку с тихого Дона, который тоже не посрамил русской литературы и господствовал в ней почти весь XX век. И нет пока равного ему преемника. Но он будет, преемник. Он скоро явится. Я уже слышу его могучую поступь. Поступь льва».

Издательство ИТРК открывает новую серию книг *«Россия молодая»*. «Проза „Резонанс“ – первая из них. Это коллективный портрет поколения, вошедшего в литературу в последнее десятилетие XX века. Роковое десятилетие политических и социальных катаклизмов, тектонического сдвига эпох, столетий и тысячелетий.

Русская литература стала в это десятилетие Брестской крепостью. Лучшие писатели России (за редчайшими исключениями) остались на стороне «униженных и оскорбленных», не предали, не бросили в час невиданных испытаний свой народ.

Именно в это десятилетие появились романы *«Красно-коричневый»* Александра Проханова и *«Бермудский треугольник»* Юрия Бондарева, посвященные трагическим событиям октября 93 года – расстрелу Дома Советов. Катастрофическим последствиям перестройки, судьбам новых «лишних людей» посвящен роман Владимира Личутина *«Миледи Ротман»*. В этом же ряду можно назвать и сатирический роман Александра Сегеня *«Русский ураган»*.

В антологии впервые собраны рассказы 25 молодых писателей – молодых не только по возрасту, но и по времени вступления в литературу. Зачастую не ведая о существовании друг друга, живя в разных городах и весях России, они пытаются выразить свое время. «Народ безмолвствует», но не безмолвствуют писатели. Они повествуют о том, что остается не высказанным народом. Так всегда было на Руси. Поэтому и стала русская литература величайшим мировым явлением, что никогда не была маргинальной, замкнутой в самой себе.

Время современного «Тихого Дона» двадцатидвухлетнего автора, видимо, действительно еще впереди, но и Шолохов начинал с «Донских рассказов». И уже в этих рассказах были сгустки энергии будущего создателя народной эпопеи.

Рассказы молодых писателей – это не однородный сплав, а амальгама характеров, тем, сюжетов, охватывающих едва ли не все стороны нашей жизни. Им не суждено слиться в единое художественное полотно, но и в этой разнородности талантов, калейдоскопичности сюжетов, стилистическом разном есть свои преимущества. Антология соединяет: «жесткие» рассказы Вячеслава Дёгтева с женской прозой Лидии Сычевой, исторические экскурсы Андрея Воронцова с «бытовизмом» Владимира Федорова, гротесковую сатиру Александра Лыскова с детективной фантастикой Александра Тутова, фольклорные байки Михаила Волостнова с охотничьими былями Михаила Тарковского.

Сочетания бывают самыми неожиданными. Рассказы «Апа» Валерия Латынина и «Зардак» Алеся Кожедуба написаны в разные годы. Первый – в начале 80-х годов, второй – в начале 90-х. Но в обоих – место действия Средняя Азия. В рассказе Валерия Латынина – советская. В рассказе Алеся Кожедуба – постсоветская. Валерий Латынин описывает случай, который можно отнести к жанру «невыдуманных рассказов». Сюжет рассказа Алеся Кожедуба, наоборот, невозможно было выдумать десять лет назад. Даже в самом кошмарном сне нельзя было представить подобного. И тем не менее Алесь Кожедуб описывает то, что стало реальностью наших дней, на фоне которой нереальным кажется все то, что описывает Валерий Латынин. Так все перевернулось за эти годы, встало с ног на голову – понятия о добре и зле, о гостеприимстве, об офицерской чести.

Среди авторов антологии – немало военных, прошедших через «горячие точки» последнего десятилетия: Александр Изумнов, Петр Плюшкин, Валерий Латынин, Валерий Курилов, Сергей Белогуров. В их рассказах своя «окопная правда», с которой после Великой Отечественной вошло в литературу целое поколение писателей-фронтовиков. Среди молодых писателей нашего времени тоже выделяется новое поколение фронтовиков. Есть в антологии и «деревенская» проза, и «городская», но нетрудно заметить, что в прозе молодых все эти бывшие стереотипы явно утрачивают значение. Кто они – Евгений Федоров из Балахны и Евгений Шишкин из Нижнего Новгорода, по какому «ведомству» или литературному клану зачислить этих самобытных прозаиков, за которыми, как и за Вячеславом Дегтевым, не столько прошлое, сколько будущее русской литературы. Характерно и то, что они – не москвичи, не стремятся к столичным «тусовкам». Вдали от столицы прожил свою недолгую жизнь и Михаил Волостное, произведения которого тоже часть новой литературы России. Лидия Сычева – из Воронежа, Петр Плюшкин – из Ставрополя, Владимир Новиков – из Смоленска, Нина Алёшина – из Омска, Александр Громов – из Самары, Александр Тутов – из Архангельска, Ольга Шевченко – из Уфы, Александр Антипин – из Мезени, Роман Сенчин – из Кызыла, Михаил Тарковский – коренной москвич порождению, ставший охотником-промысловиком в красноярской тайге. Такова «география» антологии. Может вызвать недоумение, что в ней отсутствуют наиболее известные молодые прозаики столицы Александр Сегень, Олег Павлов, Алексей Варламов, Михаил Попов и другие. В Москве уже образовалась своя «могучая кучка», выступившая с манифестом «нового реализма» и даже суперреализма. Все это требует особого разговора и скорее персональных, а не коллективных книг (которые и готовятся к изданию в серии

*«Россия молодая»).* В данном же случае хотелось представить прозу молодой России, а не только молодой Москвы.

Параллельно с изданием серии книг «Россия молодая» рассказы молодых писателей о наиболее актуальных проблемах современности звучат по радио «Резонанс».

Хочется надеяться, что благодаря серии книг **«Россия молодая»** и радиопередачам «Проза „Резонанс“ **племя младое** перестанет наконец-то быть **незнакомым**, имена молодых писателей России встанут в ряд известнейших имен, осуществивших преемственность поколений.

Секретарь Правления Союза писателей России

**В. И. КАЛУГИН**



## Вячеслав Дёгтев



**ДЁГТЕВ** Вячеслав Иванович – коренной воронежанин. Офицер запаса, бывший летчик, летал на Л-29 и МиГ-17. Автор одиннадцати книг прозы. Его рассказы опубликованы более чем в 130 газетах и журналах как в России, так и за рубежом. Среди них – «Роман-газета», «Роман-журнал. XXI век», «Наш современник», «Москва», «Завтра», «День литературы» и др. Лауреат международной Платоновской премии, литературной премии «России верные сыны». На всероссийском конкурсе рассказов, который проводила «Литературная Россия», его рассказ «Кинжал» занял первое место. Юрий Бондарев назвал его в «Правде» «самым ярким открытием последнего десятилетия», а критики окрестили «русским Джеком Лондоном».

Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

## ПСЫ ВОЙНЫ

Столица Ингушетии представляла из себя утонувшее в грязи село – не хватало разве что свиней на улицах. Тут и вспоминалось, что ингуши – мусульмане. Улицы изрыты «КАМА-Зами», БТРами и танками, заборы забрызганы глинистой слизью. Со дворов тянуло запахом навоза, кизячным дымом. Люди встречались озабоченные, угрюмые, злые, словно каждого только что вздул начальник.

– Ну и столица! – то и дело хмыкала Элеонора, пробираясь вдоль заборов, держась за столбики, иначе можно было влезть в грязь по самые щиколотки. На центральной площади лоснилась огромная маслянистая лужа; техника, проходя по этой жиже, поднимала пологие грязевые волны. Танки, машины с солдатами все прибывали и прибывали, и казалось, скоро всю улицу, вплоть до заборов, они измельчат, перетрут в пыль и, перемешав с водой, взобьют грязевую эмульсию... Все эти войска шли и шли в сторону Грозного.

Элеонора попыталась было попроситься на «КАМАЗ», но из-под брезентового тента ее довольно откровенно обложили, не выбирая особенно выражений. Ее это не столько возмутило, сколько удивило: посылали не офицеры и не прапорщики, а, судя по голосам, совсем молоденькие солдаты, ровесники ее Альберта. Боже мой, в какую среду попал ее сын! А все из-за его папашки...

Так она дошла до автостанции. Там было такое же месиво из грязи, навоза и соломы. Автобусы почти никуда не ходили. Но народ толпился, чего-то ожидая. В основном это были русские женщины и мужчины-ингуши. Стояли кучками, торговались. Когда Элеонора приблизилась, на нее сразу обратили внимание двое молодых парней.

– Едем в Грозный, красотка? – сказал один из них.

– А сколько берете?

– Договоримся. – И назвал цену. Цена была вполне приемлемая, гораздо меньше той, на которую рассчитывала Элеонора.

Соседки, услышав сумму, подбежали с двух сторон:

– Поедем! Поедем, сынок!

– А с вас... – и назвал цену, на которую Элеонора и рассчитывала. Тетки отвалили. Шофер подхватил сумки Элеоноры, как вдруг раздался властный голос:

– Не спеши, Муса! Женщина раздумала с тобой ехать.

То говорил еще один, горбоносый ингуш постарше. Он стоял поодаль, властно сложив на груди руки. Подойдя, взял вещи Элеоноры и понес их к своей машине.

– Исмаил! – выдохнула его жена, черная, как галка, злобно сверкнув глазами в сторону Элеоноры.

– Я отвезу ее! – сказал Исмаил тоном, не терпящим возражений. Жена еще больше почернела, резко бросив что-то, быстро ушла прочь, со чмоком вытаскивая сапоги из грязи.

Когда выехали из Назрани, Исмаил достал из-за пазухи пистолет и положил его под правую руку, между сиденьями, накрыв какой-то замасленной тряпкой. Элеонора поежилась и покорила себя за то, что согласилась ехать с этим разбойником. Но делать было нечего... Шофер молчал, словно на ощупь прокрадываясь по узкой дороге, кое-где заваленной осыпями. Осыпи были старые, с пробитыми в них колеями, и совсем свежие, иногда с большими камнями. Тогда Исмаилу приходилось вылезать из машины и, собирая Аллаха и шайтана, отбрасывать валуны от дороги. Элеонора всякий раз замирала в дурном предчувствии, готовая ко всему, – мигом представлялось ей, как из-за ближайшей скалы выскакивают бандиты, как скручивают ей руки, как шарят по сумкам, по телу, – и всякий раз, когда Исмаил возвращался и с хмурым лицом запускать двигатель, она облегченно вздыхала. Проехав горную часть дороги, Исмаил несколько оживился, и с него словно бы слетела шелуха провинциализма, иногда он

даже что-то мурлыкал, искоса поглядывая на соседку. Впереди показался лес. Въехав в лес, Исмаил свернул на обочину. Остановил машину, замасленной тряпкой вытер руки, повернулся к пассажирке и сказал:

– Давай!

– Так мы еще не доехали... – попыталась было она его урезонить, одновременно чувствуя бесполезность своих слов.

Исмаил молча разложил сиденья. Она так же молча передвинулась на разложенные сиденья и подняла юбку.

– Только я с дороги... в самолете, в автобусе...

– Ничего.

Через час он опять остановился. На этот раз возле какого-то скирда соломы, заехав с подветренной стороны.

– Давай! – и опять все повторилось – с сиденьем и с юбкой...

Вместо четырех часов ехали они шесть.

Наконец доехали. Когда расставались, Элеонора облегченно вздохнула: слава Богу! Еще в Москве, собираясь в поездку, она просчитала максимум возможных вариантов: тот вариант, который произошел, оказался не из самых худших. Еще бы с начальством Алика повезло... Совесть ее не мучила, и она не думала о том, как станет смотреть после всего в глаза мужу. Разве она обязана держать ответ – после всего – перед тем ничтожеством, которое не в силах даже семью содержать? Разве это мужчина, который не смог отмазать родного сына от армии? – не смог устроить ему службу где-нибудь вблизи Москвы? – не смог даже выбить ей бесплатный проезд до Грозного? При его-то связях... Разве это отец, который говорит: пусть потянет лямку! На работе у всех сотрудников дети освобождены от армии, только их Альберт – как последний колхозник... В глазах сослуживцев – презрение: на родного сына поскупились! И тогда Элеонора решила: сама все сделает! Доберется до этой проклятой Чечни. Найдет сына, договорится с начальством и увезет его домой. Она пойдет на все, коль уж эта амеба, ее муж, не в состоянии ничего сделать, лишь прикрывается красивыми словами о долге. А раз так – то и стыда перед ним не должно быть!

И она добралась до Владикавказа. Доехала на попутном автобусе до Назрани. И вот она здесь, в Грозном. А как это ей удалось и чего стоило – это уж ее личное дело. Так что пусть не обижается...

\* \* \*

Последний месяц третья рота находилась в непрерывных боях. И все эти дни слились для воюющих в один серый монолит из грязи, копоти, стонов, крови, тоски отчаянного ожидания – когда же все это кончится? Конца, казалось, не будет... За это время мальчишки превратились в солдат и научились различать голоса войны: какие стволы стреляют, куда, на тебя или от тебя, с яростью стреляет боец или со страхом, экономит патроны или не бережет, прицельно стреляет, на поражение, или постреливает со скуки, для порядка, какое у него настроение, и даже сколько – примерно – лет стреляющему.

После месяца боев они чуть ли не с одного погляда стали угадывать, что за человек рядом. И фронтовая поговорка «я бы с ним в разведку не пошел» вновь обрела свое истинное, первоначальное значение. Таких, которые не вызывали доверия, сторонились. Особенно не любили, ненавидели Альберта Букетова из Москвы. Он был как-то особенно, по-подлому труслив. Судорожно хотел выжить. А это очень страшно – когда любой ценой. На «гражданке» – это слабость; на войне – порок. На днях из-за него погиб Миха Брянский, отличный парень. Вся рота до сих пор горюет. Погиб по своей доверчивости и из-за подлости Альбертика. Миха

полез в подвал, оставив это арбатское носатое чмо охранять выход. Тут показались чеченцы. Альберт сиганул, даже не предупредив Миху. Парня зверски замучили.

Москвича, конечно же, поучили. Но только, похоже, наука не пошла на пользу. С того времени с ним не то что есть или спать – даже сидеть рядом западаю!

С утра в роте появился корреспондент, картавящий парень с длинными, собранными на затылке в пучок волосами, серьгой в ухе и в тонких перчатках; ребята спорили, есть или нет у него под перчатками маникюр... Он шастал по окопам, выпрашивал, как кормят, да как «старики», не издеваются ли? Солдаты уходили от ответов и отсылали его к Рексу – он все расскажет, парень что надо, герой! Но корреспондент к Рексу-герою не шел, а присел возле Альбертика, заговорил с ним и вскоре уже вовсю записывал на пленку его причитания.

Лейтенанта Рекса в роте любили. Уважали и даже немного побаивались. Вообще-то, имя его – Костя, Константин. Как у Рокоссовского. Он на год-два старше солдат, в прошлом году окончил училище. За месяц боев Рекс возмужал и проскочил пять или шесть служебных ступенек. Он высок и поджар, как борзая-хортая, глаза светятся умом и отвагой, а голос как труба, – подчиняться ему не унизительно, а приятно. Он говорит, что рожден стать маршалом. На худой конец – генералом. И он им будет! И что Чечня сейчас – пробный камень: или Россия окончательно развалится на удельные княжества, или в Чечне родится новая русская армия, не «российская», а именно – русская, с командирами, для которых офицерская честь не останется пустым звуком. И он будет одним из них в возрожденной армии, офицером новой формации – боевым вождем, а не подносителем бумажек, и гремел что-то еще о мужестве и совести, о доблести и достоинстве, говорил, что еще чуть-чуть, и наш медведь наконец-то проснется и воспрянет духом, и приводил пример: в соседний батальон приехал отец, чтобы забрать сына; приехал, окунулся в стихию войны, и не хватило совести уехать обратно – записался добровольцем во взвод, где служит сын. На этого мужика ходят смотреть – как на диво. «Первая ласточка!» – утверждал Рекс. Эти слова будили в душах солдат что-то возвышенное и светлое, давно забытое. Эти слова хотелось слушать, хотелось верить, что так и будет. Не может быть иначе!

Он частенько посиживал с ребятами во время затишья и любил, когда Миха играл на гитаре. И вот Михи больше нет. Уже третий день.

В этот день впервые за месяц тишина не распарывалась выстрелами. В этот день привезли походную баню. Выдали допнаек, который только аппетит разжиг. В этот день Рекса назначили комбатом, а к москвичу Альберту приехала мать... Она сидела сейчас по соседству, за мешками с песком, и кормила Альберта сладкими плюшками, а он ел, давясь, и плакал, слезы так и текли, оставляя на грязных щеках блестящие дорожки, а мать платком вытирала его чумазое лицо. Слюнявила и вытирала. У Михи тоже есть мать, сказал один из ребят, рыжеватый скуластый парень, которого звали Хазар. А еще у него осталась девчонка. Надей зовут. Это тоже все знали. Жаль Миху... Некому анекдот рассказать и сбачать на гитаре.

Ребята жались к брустверу – зябли после бани, – а в соседнем окопе мать вытирала Альбертику лицо и кормила его домашними жамками. В баню он не пошел, боясь простуды. Да и вообще, он, как замечали, мыться не любил и купался всегда в плавках...

Один из солдат, тот, который Хазар, подсчитывал на папиросной коробке сколько стоит, чтоб добраться сюда из Москвы: восемьсот тысяч, чтобы только доехать до Назрани. Да четырехста долларов – от Назрани до Грозного. Да начальству сунуть, да на подарки, да туда, да сюда. Ни хрена себе!

В соседний окоп опять нырнул корреспондент. Слышно было, как мать заголосила против войны, что не отдаст больше свою кровиночку в эту бойню, костями ляжет, а не пустит.

Альбертик заныл, до чего тут тяжело, да какие тут неуставные отношения, и поминал свои разбитые губы, а корреспондент все ахал и охал – совсем по-бабьи...

Это что ж выходит, зёмы, вступил другой солдат. Этот козел Миху угробил, а маманя его домой забирает? А как же они? А никак! – ответили. Стойко переносить лишения и тяготы...

Третий сказал, что у его матери таких денег сроду не бывало и не будет. Четвертый добавил: а у его матери, если б и появились, – куда ей от хозяйства?

Подошел пятый. Поздравляю, бросил. Только что из штаба. Все офицеры на рогах – мать Альбертика привезла канистру спирта. Уже документы оформляют... Куда? На перевод в другую часть. Вечером, как стемнеет, отправят. Чтобы Рекс не знал. Так что я вас, пацаны, поздравляю, повторил.

Он поедет, а нам, значит, тут припухать? Собак своим мясом кормить?... Выходит, так.

Из соседнего окопа перелетела вдруг рыба голова с кишками и шлепнулась Хазару прямо на каску – соседи, похоже, угощали корреспондента. Хазар брезгливо отбросил от себя голову – двумя пальцами. Засмеяться никто не посмел. Хазар достал из подсумка гранату. Ввернул взрыватель. Все следили, не проронив ни слова. Он медленно, каждого обвел своим раскосым взглядом – а? – никто не запротестовал, похоже, не очень-то веря в задуманное. Один покачал головой: мало! И протянул свою гранату. Протянули еще. Обмотали рубчатые рубашки синей изолентой. И вот уже чека выдернута, а палыцы на предохранителе. И опять раскосый взгляд скользит по безусым, но суровым лицам – а? – и в глазах каждого окончательный приговор. Примерившись, Хазар легонько перекинул связку через мешки с песком. Вскоре гроыхнуло, и солдат обсыпало печеньем, каски облепило чем-то липким, и упала, разматываясь, магнитофонная кассета.

Ребята втянули головы поглубже, нахлобучили каски – и отвернулись. В глаза друг другу смотреть было тяжело. За мешки никто не выглянул. Минут через десять прибежал Рекс.

– Кто тут балуется?

Ему объяснили, что налетела шальная мина. И прямо, значит, угодила в семейный обед. Тетка-то в яркой куртке была.

Рекс подошел к порванным телам, потрогал их зачем-то ногой. Они еще не успели окоченеть. Хазар снял с корреспондента перчатки. Нет, маникюра не было... Рекс поднял доннышко гранаты с остатками синей изоленты.

– Мина, говорите? – повертел осколок в руках и спрятал его в карман бушлата. – Наверное, маленького калибра... от ротной «хлопушки»?

– Да-да, – закивали ребята, преданно глядя Рексу в глаза. – Налетела неожиданно, прямо без пристрелки, – тетка-то в яркой куртке была...

– Ну ладно. Поглядывайте тут.

– Хорошо, комбат. Поглядываем. Нет ли чего пожрать?

– Что ж вы у тетки не попросили?...

– Да не успели, – было как-то неудобно говорить, что она им не особо предлагала.

– Ладно, пришло чего-нибудь.

Когда он ушел, ребята переглянулись.

– А что, пацаны, Рекс станет генералом, бля буду! Человек!

– А нам-то что с того? Жрать охота.

– Тебе бы только жрать, Хазар! Фу, грубый ты какой-то...

Тот в ответ рассмеялся, похожий на рыжего китайского шарпея.

О покойниках никто больше не вспоминал. Что их поминать лишний раз – на ночь глядя...

## ШТОПОР

*Пилотам, штурманам,  
а также воздушным стрелкам,  
которые ушли покорять Небо, —  
и пока еще не вернулись...*

«Ух ты! Петруха, делай, как я! Командир, командир, Саня, води ребят, а я с этими в кулочки поиграю». — «Не многовато ли, Вадим: восемь — на двоих?!» — «Нор-маль-но! Не „бубновые“ — щенки, летают криво. Не родился еще фриц, который... А в случае чего, ты знаешь, оторвусь от них штопором — что мне их аэродинамика. Стань ближе, Петруха, и делай, как я...» — «Осторожней, Вадим!»

Я услышал это в самый тяжкий момент, когда в глазах все померкло, и лишь слышно было, как стучала маленькими молоточками кровь в затылке. Я гонялся на своем «МиГе» за полковником Ляпотой, стараясь заснять его на пленку фотокинопулемета. Называлась эта игра — «воздушный бой». Полковник старался оторваться от меня, а я держал его в плавающем перекрестье и жал, жал на гашетку. И тут услышал этот голос, и он показался мне знакомым...

У меня иногда бывает так. Я вижу картины, не относящиеся к реальности, слышу голоса, далекие от действительности, особенно в машине или в самолете, когда пропадает ощущение настоящего, теряешь контроль над сном и явью и впадаешь в какой-то транс; но особенно яркими они бывают, эти видения, в мгновения восторга или опасности.

Земля и небо неслись колесом, пыль стояла в кабине, летали какие-то бумажки, в глазах то прояснялось, то меркло, не даром полковник Ляпота завалил, как поговаривали, пару «Миражей» и «Фантом» в Алжире, где воевал, как тогда преподносили, «наблюдателем». Когда летали с ним на «спарке», он учил: «Плюнь на инструкцию, подходи как можно ближе, лишь бы ошметки не задевали. И цель по носу — не попадешь, так хоть напугаешь». И я наплевал на инструкцию и держался в двухстах метрах — как в Алжире; висел на хвосте у Ляпоты, будто привязанный; а он у меня — в плавающем перекрестье... В глазах то и дело темнело: сперва исчезал цвет, потом появлялись «мушки», мир голубел и уменьшался до размеров ладони, и вдруг разом пропадало все, словно вырубали свет. А я тянул, тянул ручку что есть силы, самолет дрожал в предштопорной тряске, угрожающе покачиваясь с крыла на крыло, и тогда приходилось отпускать на мгновение штурвал, чтобы посмотреть — держусь ли? Ляпота не щадил ни меня, ни себя: обороты были по заглушку, ручка — до пупа; мы неумолимо набирали высоту, уже заголубело, а потом почернело небо...

И тут опять услышал: «Петруха, со всех стволов — огонь! Еще! Еще! Гори-ит! Держись ближе. И не бойся штопора — пусть они боятся. Они педанты, им и в голову не придет...» И понял, что это меня зовут Вадимом, мне уже двадцать пять, я не курсант, а — капитан и Герой, наяву увидал семерку «мессершмиттов», восьмого дымящего, и гигантское колесо воздушного боя, и свой самолет, американскую «Аэрокобру», трясущийся в предштопорной лихорадке. «Саня! Я с ними еще поиграю — можно?... Петруха!»

И тут все это в ключья рвет голос Ляпоты:

— Три девяносто три, кончаем бой. Молодец, хлопец. Выиграл!

Вечером в казарме я угощал друзей. Пили армянский, «Отборный», с пятью звездочками, — летчики как никак. Я отмечал свой триумф. У Ляпоты не бывало похвал, тем более в эфир. Ляпота был известный «зарубщик». Я сидел на тумбочке, пьяный от успеха и славы, и думал... думал о том неизвестном Вадиме. Странно, у меня всегда были симпатии к этому имени, все знакомые Вадимы — мои друзья. Кто он, этот Вадим? И чем кончился неравный тот бой?

Я часто вспоминал об этом видении. И ждал, когда же оно повторится. И оно повторилось. Через год.

\* \* \*

К тому времени я уволился. Получил летное свидетельство, офицерские погоны и распределение на Курилы – в тот самый полк, который собьет вскорости южнокорейский самолет, – но к месту службы не поехал. Зуб сочинительства, прорезавшийся еще в юности, к тому времени вырос окончательно: в местном издательстве предложили заключить договор на издание книжки. Стоял выбор: авиация или литература. Я выбрал второе. Отца чуть удар не хватил. Он попытался уговаривать. Когда почувствовал, что бестолку, решил воздействовать дедовским испытанным способом. Но в этот раз досталось самому...

Я сидел на пороге, – голова гудела после драки, – и планировал, летел почти на ощупь, в темноте, – я опять был Вадимом, рука плохо слушалась, а в сапоге хлюпала кровь, занемевшими губами шептал: «Саня! Я ранен. Ухожу на аэродром. Пока...» – «Вадим! Вадим! – звал ведомый. – „Мессер“ справа». – «Уйдем штопором – у них на это кишка тонка...» И тут пробивается голос отца, просительный, жалкий:

– Сынок! Езжай в полк. Ведь можно и летать, и писать...

Старый не понимал: то, что наполовину, неминуемо погубит целое.

Я сделал выбор. Долго потом будут сниться самолеты, – чуть ли не каждую ночь летал во сне, и часто просыпался с мокрыми глазами, – но это будет потом. А тогда – без колебаний – вместо гвардейского полка пошел в школу военруком, – там была возможность писать. Первая книжка не принесла ни славы, ни успеха. Из школы выгнали за популяризацию «белогвардейца Бунина»; ушел в милицию, где ввязался выводить на чистую воду не тех, кого надо; обещали «устроить в тюрьме отдельную камеру», но устроили аварию: в машине, когда мчались под гору, вдруг отказали тормоза. Был гололед, машина закрутилась на дороге, и нас понесло в кювет. То ли дверь от деформации открылась, то ли я сам ее распахнул, но только через мгновение уже летел рядом с машиной – все вертелось, все крутилось, но страха не было; в голове стоял равнодушный вопрос: «Ну что – все?» И тут я опять ощутил себя Вадимом, увидел свой продырявленный самолет как бы со стороны, он осторожно планировал, словно спускаясь с горки, и шестерку «мессершмиттов», выстроившихся в кольцо, и расстреливающих этот беззащитный самолет, и услышал истошный крик Петрухи-ведомого: «Вадим!

Смотри направо!» – «Ничего-о! Не успеет. Не родился еще...» – и шквал трассирующих пуль, огненный сноп перед глазами, и грязное брюхо «мессера», и моя струя, распарывающая это брюхо. «Ага-а! Гори-ишь, „бубновыи!“ – „Осторожней, Вадим! Еще один заходит!..“

Ну, повезет – не повезет...

Мне в тот раз повезло. Я ударился в кювете о землю и какое-то время лежал, не помня себя, – я все еще был Вадимом, я, раненый и истекающий кровью, все еще вел неравный бой, и было поздно сваливаться в штопор, высота уже не позволяла выкинуть такой финт. Я осторожно планировал – самолет был как решето и почти не слушался рулей. «Саня! Я ранен...» – «Вадим! Друг!...»

Врачи называют это «ложной памятью», а йоги – законом кармы, переселением душ.

Да, мне повезло в тот раз. Меня словно кто подхватит, поддержит на лету и плавно опустит на землю. Шофер попадет в реанимацию, а я отделаюсь синяками и шишками. Видно, не обошлось там без Вадима... После этого случая пойму: умереть можно в любой момент. Потому жить нужно и писать так, будто всякий день – последний.

\* \* \*

Давно уж не снятся мне самолеты. Давно не летаю – даже во сне. Я сугубо штатский человек.

И вот попал как-то в дом прославленного военного аса. Когда-то он был моим непосредственным, самым высшим начальником. Я с благоговением переступлю порог и... Летчики не умирают, вспомню, – они улетают и не возвращаются. На вешалке в прихожей – его маршальская шинель и фуражка, словно хозяин вышел на минуту. Форма висит, нетронутая, уже несколько лет... Над дверью в его кабинет – картина: «Аэрокобра» пронесется через облако только что взорвавшегося на собственных бомбах «юнкерса». Я никогда не видел эту картину, а тут вдруг – угадал. И сразу же зазвучал знакомый, полузабытый голос...

– Здравствуйте! – перебила его хозяйка и обратилась ко мне: – Извините, вы... летчик?

– Да, когда-то... в прошлом.

– Вас зовут... Вадим?...

После чего показала пачку фотографий. На них в обнимку с прославленным асом стоял... я! Все было одно к одному: и раскосый рассеянный взгляд, и косолапость, и полный белых зубов рот, и даже – даже! – рыжеватая борода. Сколько ругали и журили, наверное, Вадима за нее, такую непрезентабельную.

– Он упал в кубанские плавни, неподалеку от хутора Гарний. У ведомого после боя оказалось сто двадцать пробоин... Но я не верю в смерть Вадима. Он жив, так же, как мой Саша. Летчики ведь не умирают... – и нежно погладила сукно мужниной шинели.

Я чуть не сказал о нашей с Вадимом тайне; двое в одной оболочке, мы часто срываемся в штопор, – он для нас родная стихия...

А через полгода случится мне быть на Кубани; заверну на хутор Гарний и спрошу встречного старика про сбитый во время войны самолет. Старик оживится и скажет, что несколько лет назад осушали плавни и подняли какой-то самолет, явно нерусский, а в нем кости и череп – «ядренный такой, и зубов в ём богато!» – и что из черепа Петяка Чоловик сделал себе пепельницу. А теперь этот байстрюк – хуторской атаман! – сплюнет дед сердито.

Я разыщу этого Петяку – он предстанет в кубанке и шароварах с голубыми лампасами, – покажу ему фотографии, и когда этот потомок запорожцев, отдав с неохотой свою «пепельницу», пренебрежительно хмыкнет: «На шо вин мени, твий краснопузый сталинский сокил; вин защищал советску власть, – лучше б вин ее не защищал...» – после таких слов сорвусь и два раза ударю Чоловика по безмозглой его башке, так что слетит баранья шапка...

Вот он, этот череп с отпиленным затылком, у меня на столе. Череп Героя Советского Союза Вадима Фадеева, прожившего двадцать пять лет и сбившего двадцать пять фашистских самолетов.

Что с ним делать?



## Андрей Воронцов



**ВОРОНЦОВ** Андрей Венедиктович родился в 1961 году в Подмоскowie. Окончил медицинское училище, работал фельдшером на «Скорой помощи», одновременно учился в Литературном институте им. А. М. Горького. С 1987 года работал и печатался в журналах «Октябрь», «Новая Россия», «Московский журнал», «Русский дом». В настоящее время – член редсовета журнала «Наш современник». Автор прозаических книг и литературно-исторических исследований: «Победитель смерти», «Белая голова», «Замкнутый путь в тумане», «Детское досье об убийстве Кеннеди».

Член Союза писателей России.

## ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОРАЖЕНИЯ

– Ты живешь в каком-то выдуманном мире, – сказал я как-то в сердцах сыну, который вместо уроков вел бой с невидимым врагом.

– Да, – ничуть не смутясь ответил он, – мне так легче жить в настоящем.

Что я мог ему возразить? Разве не знаю я взрослых людей, придерживающихся той же точки зрения? Один мой друг, историк, всерьез задумал писать кандидатскую с таким названием: «Зиновий Петрович Рожественский – выдающийся флотоводец XX века». В аспирантуре сначала смеялись, потом ругались, а потом его выгнали. Работал он после этого консьержем в «элитном» доме, но диссертацию не забросил, доказывал, какой творец Цусимы был гениальный человек. Короче, он тоже создал себе выдуманный мир, чтобы легче жилось в настоящем.

Что ж, не мне осуждать его – сам не потому ли пишу? Но я терпеть не могу эту новую историческую моду: из неудачников делать гениев, а из поражений – победы. Это ведь, если разобраться, обратная сторона поражения. А с другой стороны, бесконечная цепь поражений последних лет научила меня не радоваться преждевременно маленьким удачам, к чему тоже был склонен Василий (так звали моего друга).

Вместе с Василием мы не пропустили ни одной демонстрации протеста, начиная с 23 февраля 1992 года, а это, кто помнит, не всегда было полезно для здоровья. И едва ли не на каждом митинге он мне говорил: «Ну все, теперь уже Ельцину немного осталось!» И впрямь, от шествия к шествию нас становилось все больше: 23 февраля следующего года никакие силы уже не смогли сдержать прорыв 300-тысячной колонны на Манежную. Казалось, и вправду осталось чуть-чуть... Но грянул позорный апрель, когда одна часть русского народа проголосовала за расправу над другой, и я засомневался...

В ночь на 4 октября 1993 года мы сидели с Васей у костра в роще возле Дома Советов. Мы уже знали о случившемся в Останкине. День, прошедший под знаком неслыханной нашей победы, заканчивался сокрушительным поражением. Мы ни слова не говорили о происходящем, вообще ни о чем не говорили – подбрасывали сучья в огонь, наливали себе водки, выпивали, не чокаясь, как на поминках... Между святащихся точно изнутри березовых стволов плясали огни других костров, а над ними неровными оранжевыми шарами дрожали маленькие зарева. Порой пламя выхватывало из темноты чье-нибудь лицо – и оно тут же исчезало, будто подхваченное дуновением ветра, и снова становилось частью ночи, наполненной шелестящими голосами, звоном бутылок, бречением гитарных струн. И, как знать, может быть, эти лица принадлежали тем, кого наутро уже не было в живых... Никто ни о чем не спорил, ни к чему никого не призывал. Изменить ничего было нельзя – оставалось только ждать утра. Запах дыма и печеной картошки смешивался с запахами опавшей листвы, сырой земли, древесной коры и грибов, хотя их время давно уже прошло. Где-то рядом пели: «А в тайге по утрам туман...», а немного дальше, перевирая мотив, битловское: «Хей, Джуд». Эти голоса и запахи доносились словно из прежних времен, когда не было ни уличных сражений, ни омоновцев со щитами и дубинками, а в моде были туристические слеты и конкурсы авторской песни. Но были и другие голоса. «Спаси, Господи, люди Твоя», – пели в другом конце парка негромко и красиво, но вскоре пение перекрыл длинный разухабистый вздох гармошки, заигравшей с места в карьер плясовую. «Эх, эх, эх!» – забухали в землю подкованные сапоги, невидимые плясуны засви- стали молодецкими посвистами.

– Русский человек!.. – заорал кто-то из темноты. – Нет, ты послушай, что я тебе скажу. Русский человек!.. Что это такое? «Веселие и питье»! Он создан для того, чтобы пить и веселиться! А его засунули в жопу. Ему, дионисийцу, придумали долг и идеи. Опутали правами и обязанностями, будь они неладны. На фига ему это? Наша

Родина – веселье! «Смотреть до полночи готов на пляску с топотом и свистом под говор пьяных мужичков»! Вот она – Расея, вот он – русский человек!

Еще вчера за эти слова дали бы незнакомцу крепко в лоб и назвали бы провокатором (каковым, быть может, он и являлся), а теперь все устало молчали.

Так тянулась эта ночь поражения нашего, ночь нашего с Василием прощания с молодостью...

Задремали мы лишь под утро. Проснулись оттого, что где-то над самыми нашими головами гулко и часто ударил КПВТ – крупнокалиберный пулемет. Воздух задрожал, сорвались с ветвей и закружились вниз по невидимой спирали кленовые листья. Между деревьев стояла пронизанная солнцем пустота. В воздухе уже сильно пахло гарью. Стуча зубами от озноба, мы поднялись на ноги. Парк стал неузнаваем. Волнистые пряди инея, искрясь на солнце, прихотливыми узорами вплетались в траву.

Снова ударил пулемет, женский голос закричал истошно. Со стороны площади заскрежетало, залягало: боевые машины десанта преодолевали хлипкие баррикады. Мы пригнулись и побежали к левому крылу Дома Советов.

Так начался этот день. Его мы с Васей помнили, как в бреду, отрывочно, пунктиром. Был момент отчаянной надежды, когда на Новом Арбате, за полкилометра от нас, завязалась жаркая перестрелка, и Вася закричал: «Это наши! Наши подходят!», и я снова ему поверил, да так сильно, что слезы выступили на глазах. Увы, это были не наши – спецназ лупил по окнам, в которых якобы были снайперы...

Потом, влекомые бегущими куда-то людьми, мы оказались под большой парадной лестницей, где было бюро пропусков. Мы думали, что окружавшие нас люди – свои, и хотели вместе с ними войти в здание, но вскоре поняли, что опять ошиблись... Без лишних слов, деловито, умело они взломали дверь и устремились внутрь, привычно, как в трамвае, толкаясь локтями и плечами. Почуввав неладное, мы не последовали их примеру. Вскоре взломщики стали возвращаться – с пакетами, набитыми кофе, печеньем, соком, компотом, консервами, сигаретами... Некоторые счастливыцы завладели портативными телевизорами и радиоприемниками. Кто-то нес за ухо большую подушку. Другой – телефонный аппарат с волочащимися по земле проводами. Третий – ворох милицейских фуражек. Иные надевали их на головы. Кто-то с простецким лицом раздавал незаполненные депутатские удостоверения с красными корочками. Они выходили так же деловито, как вошли, – молодые, хорошо одетые, в крепкой обуви, шли в сторону Нового Арбата, сталкиваясь с теми, кто нес от противоположного входа обезображенные и окровавленные трупы.

«Пойдем отсюда», – потухшим голосом сказал Вася. Я оттолкнулся от стены и пошел, как по воздуху, не чуя ног. Я вообще ничего не чувствовал, только простейшие ощущения: вот мы были под лестницей в тени, а теперь очутились на солнце. Я словно лишился плоти и костей: мне казалось, что если бы кто-то из спешащих с добычей захотел пройти сквозь меня, то сделал бы это без труда. Где-то в глубине сознания, как в обмелевшем колодце, плескался вопрос: как это все могло произойти?

Выбравшись из-под лестницы, мы удивились тишине. Видимо, объявили перемирие или что-то в этом роде. Кто-то говорил по мегафону из окна пятого этажа. Судя по голосу это был Руцкой. Мы поднялись по парадной лестнице наверх, где уже стояла небольшая толпа. Руцкой, видимо, вспомнив, что он летчик, просил других летчиков поднимать боевые машины в воздух и защищать парламент, – почему он решил, что среди кучки людей, стоящих под окнами, есть летчики? Мы вздохнули и пошли вниз. Навстречу нам, великолепно освещенный лучами солнца, поднимался вылезший из танка полковник. Он шел прямо на нас, высокий, сильный, голубоглазый, загорелый, с откровенным эгоистическим нежеланием в глазах вникать во что бы то ни было, свойственным лишь старшим армейским и милицейским чинам (даже у гражданских бюрократов другой взгляд – более артистический, что ли). Он шел словно из американ-

ских фильмов, из мясорубки, где он «всего лишь выполнял приказ», с закатанными рукавами камуфляжной формы и распахнутым воротом, из которого выглядывал белоснежный подворотничок. Красивый, седоватый – шел предъявлять ультиматум. И будет он теперь идти так вечно, под косыми лучами закатного солнца, с тяжелым автоматом в руке.

Потом мы стояли у железных заграждений на тротуаре. Мимо все еще шли мародеры. Верхние этажи Дома Советов горели. Немногие сохранившиеся стекла нижних этажей тоже горели – в лучах заката. В здании мэрии раздавались грохот и лязганье, словно там, внутри, ворочался танк. Над домом снова кружили птицы, распуганные было канонадой. Я смотрел на них и завидовал: как им легко и просто летать там, вверх, смотреть на все это с высоты. Вот так же утром кружили в воздухе серебристые осколки жалюзи, высоко подброшенные чудовищной взрывной волной. Я принял их поначалу за голубей. Легкие пластинки летели к земле долго, плавно, красиво, как птицы. «Мне кажется порою, что солдаты...» Почему-то я вспомнил, совсем не к месту: «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?»

Хотелось курить, но сигареты кончились. Вася спросил сигарету у стоящего рядом кавказца. Тот вытащил голубоватую пачку, кивнул на парламент: «Оттуда». По странному совпадению, сигареты тоже назывались «Парламент». Заметив мой недобрый взгляд, кавказец сказал: «Один парень дал, сам я туда не ходил. Теперь Ельцину тоже капец», – добавил он. Тут я словно очнулся и иронически посмотрел на Васю – как, мол, тебе твоя песня в чужом исполнении? Вася отвел глаза.

С Нового Арбата доносилось металлическое лязганье – это лавочники разбивали камнями блестящую спираль Бруно с ужасными крючками, добывая себе сувениры. Гремя щитами, на площадь перед лестницей выбежал отряд омонцев, построился в линию и, размахивая дубинками и автоматами, принялся вытеснять толпу. Мы поплелись, подгоняемые омонцами, в сторону Нового Арбата...

А дальше наступил период реакции, как говаривали в советских учебниках истории. Я долгое время не мог спокойно слышать слово «народ» – меня от него коржило. Видел я под парламентской лестницей этот народ! Никакие беды последнего времени – невыплаты зарплат и пенсий, кража сбережений, безработица, дороговизна, «черные вторники», отключения тепла – не казались мне чрезмерными для тех, кто предал нас в октябре. Потом злость отступила, пришло безразличие. Я не отказался от прежних убеждений, но совершенно разочаровался в публичной политике и с головой ушел в литературную и журнальную работу, а Вася как раз в ту пору занялся своим злосчастным Рождественским.

Надо сказать, что на эту тему мы не нашли общего языка сразу. Едва Вася стал мне втолковывать про загадки Цусимского сражения и непонятую роль Рождественского, как я раздраженно заметил:

– Да что тебе Цусима эта, когда ты не знаешь того, что произошло в октябре девяносто третьего? А что касается роли Рождественского, то мне интересно услышать от тебя, как от историка, какова роль Макашова и Руцкого? А то, неровен час, лет через десять – двадцать появится чудаков вроде тебя и напишет, что они были гениальными, только им не повезло.

Русобородый, шупловатый Вася терпеливо, и, как всегда, заикаясь, объяснял:

– Цусима – первая знаковая русская катастрофа двадцатого века, в которой, как в капле воды, отразились причины всех последующих русских катастроф. А что такое русская катастрофа? Это: или – или. В ней всегда есть момент, в самом начале, когда можно не только уйти от поражения, но даже одержать блестящую, сокрушительную победу. Так было и третьего октября. Ты прав: Рождественского у нас не было. Но, согласись, куда обиднее было бы потерпеть поражение, если бы восстание возглавил кто-нибудь поумнее Руцкого и Макашова. Именно так и случилось, увы, в Цусимском бою.

– Да отчего ты решил, что Рождественский был умнее? Угробил он народу побольше, чем наши герои, – пять тыщ человек.

– В начале Японской войны, когда еще все газеты, включая либеральные, кричали о том, что вскоре японская авантюра потерпит полное крушение, Рождественский предсказал иной ход войны. «Нам придется жестоко биться», – заявил он в конце марта девятьсот четвертого года французскому корреспонденту. Он считал, что нашей эскадре уже нечего делать на Дальнем Востоке, потому что, когда она появится там, японцы уже успеют перевезти в Корею орудия, снаряды, боевые припасы, провиант в достаточном количестве для того, чтобы вести войну в течение многих месяцев. Но ему приказали – и он повел эскадру в бой. Между прочим, одно из его тогдашних предсказаний сбылось, к сожалению, уже через несколько дней. Тогда взойшла звезда адмирала Макарова, его взалбли хвалили газеты, и Рождественский похвалил: «Это прекрасный моряк, энергичный начальник, искусный, отважный...», но тут же заявил: «Он пленник того положения вещей, которое не он создал и которое не в силах изменить». А первого апреля четвертого года, когда газета «Русь» перепечатала это интервью, она сообщила на другой странице о гибели броненосца «Петропавловск» и Макарова...

– Какая цена подобным предсказаниям, если с их помощью нельзя ничего исправить? Это как у Маркеса в «Ста годах одиночества»: пророчество о гибели Макондо герой разгадал именно в ту минуту, когда ураган стер город с лица земли.

В этих наших спорах был, конечно (во всяком случае, с моей стороны), подтекст, не имеющий отношения к Цусиме и Рождественскому: октябрьские события и безоглядный Васин оптимизм накануне их. Естественно, я понимал, что никакой личной Васиной вины в случившемся нет: просто я полагал, что люди, подобные Васе, создали в обществе накануне ельцинского переворота шапкозакидательское настроение, внушили детскую веру в быструю победу, когда следовало настраивать людей на долгую и изнурительную борьбу. Мне казалось, что своей сказкой о выдающемся флотоводце Рождественском, Вася иносказательно отвечает мне и таким, как я, – вот, дескать, какие зубры проигрывали, а что мы?...

Кроме того, Васина диссертация имела, на мой взгляд, чисто профессиональный изъян: он отчего-то решил доказать талант Рождественского именно на примере Цусимы, давно ставшей именем нарицательным. Ну кабы еще потерпел адмирал поражение, но не потопил всю эскадру – можно было бы оригинальничать и версии сочинять, но тут... Ведь и к погибшим надо иметь уважение... Примерно так же, видимо, считали и в аспирантуре, когда выперли Васю.

Разгар его работы над трудом о Рождественском пришелся на первую чеченскую войну, которую тогда, как назло, сравнивали с Цусимой... И это, увы, не могло не накладываться отпечатка на мое отношение к его работе, и отпечатка несправедливого: Вася, при всех его заносах, действительно был талантливым историком и доказательства своей правоты искал упорно и увлекательно. Правда, по мере сил и я ему помогал: например, когда он без документа из аспирантуры лишился возможности работать в архивах и рукописных фондах, я делал ему справки от журнала. Надо сказать, что официальными архивами он не ограничивался, умел найти и нужные домашние.

Так, ликуя, притащил он мне однажды дневник участника Цусимского сражения (из небогатого отряда) и настоятельно рекомендовал почитать. Произошло это между двумя безрадостными событиями: переизбранием Ельцина на второй срок и похабным Хасавюртовским миром – куда более похабным, чем Портсмутский, завершивший Русско-японскую войну.

Дневник я осилил с трудом: автор, мичман Илья Ильич Кульнев, правнучатый племянник героя войны 1812 года генерала Якова Петровича Кульнева, не обладал ни особым литературным даром, ни разборчивым почерком (что, впрочем, в условиях боевого плавания понятно). Да и сама история была тягостной, как и история антиельцинского сопротивления и чеченской войны.

Собрали зимой 1905 года на Балтике тихоходные «музейные образцы»: броненосец «Император Николай I», три броненосца береговой обороны – «Генерал-адмирал Апраксин», «Адмирал Сенявин», «Адмирал Ушаков» и крейсер 1-го ранга «Владимир Мономах» – и отправили под командованием контрадмирала Небогатова на помощь вышедшей раньше эскадре Рожественского. Вовсю бушевала революция, с войны приходили только дурные вести, портовые рабочие разбрасывали на военных судах прокламации: «Убивайте офицеров, топите свои суда, зачем вы идете на верную смерть?», которым матросы порой следовали буквально: например, убили одного молодого мичмана за то, что он хотел водворить тишину. Офицеры чувствовали себя в Либаве, как на вражеской земле, горели желанием скорее выйти в море...

Плавание было очень тяжелым, питались экипажи скверно: либавские купцы снабдили моряков консервами, которые нельзя было есть, а свежего мяса не закупали, потому что на небогатых судах, в отличие от эскадры Рожественского, не было ледников-рефрижераторов. Грузились углем в иностранных портах в авральном режиме (нигде не разрешали стоять больше суток), отчего корабли приобрели необыкновенно грязный вид. Тем не менее была вписана славная страница в историю военной навигации: на обветшавших судах небогатовцы совершили переход в 16 тысяч морских миль, останавливаясь лишь для заправки углем. Во вьетнамскую бухту Камрань (Камаранг), где 2-я Балтийская эскадра соединилась с 1-й, Небогатов привел все суда, вышедшие с ним из Кронштадта и Либавы, включая самые тихоходные. Подобное достижение считалось тогда неслыханным даже для новых скоростных броненосцев, работавших на угле. В бухте Камрань (которая после 1975 года стала советской военно-морской базой, а теперь заросла джунглями) русским судам тоже стоять долго не разрешили.

Двумя кильватерными колоннами русская объединенная эскадра направилась к Цусимскому проливу. Дневник заканчивался 14 мая 1905 года, около 14 часов, то есть буквально перед первым залпом Цусимского сражения. Саму битву Кульнев описывать не стал, нарисовал лишь схему движения наших и японских судов.

Читать записки Кульнева было не только тяжело, но и больно: предчувствие неизбежной беды сменялось в них отчаянной надеждой на победу – сродни той надежде, с которой мы жили до 4 октября 93-го... «Как-то мне вздохнулось: может быть, дойдем, поддержим 2-ю эскадру, может быть, и не потопят нас, мы будем воевать и победим японский флот...»

Сам мичман, как рассказал мне Вася, в Цусимской трагедии выжил, в отличие от своего старшего брата Николая. После войны Илья Кульнев увлекся морской авиацией, стал одним из первых в России летчиков-конструкторов. В мае 1915 года он погиб в авиакатастрофе под Ревелем.<sup>1</sup>

Честно говоря, я не очень понимал, зачем Вася дал мне этот дневник: то ли для общего развития, то ли еще для чего, и почему он, собственно, так радовался ему – ничего, что подтверждало бы его выводы о Рожественском, у Кульнева не было – наоборот, на последних страницах он выражал недоумение его действиями.

В осторожной форме я спросил это у Васи (после того как он стал консьержем, самолюбие у него обострилось).

Вася с сожалением посмотрел на меня.

– А чертеж?

– Что – чертеж?

– Ну ты что, не заметил, что на схеме правая кильватерная колонна выдвинута вперед левой на половину своей длины? Теперь наконец стала понятна загадочная фраза в воспоминаниях английского военного наблюдателя на японских судах капитана Пэкинхема, что по сравнению с судами правой колонны суда левой казались «пренебрежимо малыми». А между

---

<sup>1</sup> Записки И. И. Кульнева не являются литературным вымыслом: в 1994 г. они были предоставлены мне племянницей Кульнева Огородниковой И. Ф. и напечатаны с комментариями в «Московском журнале», 1994, № 8. (Прим. автора.)

тем головной корабль левой колонны «Ослябя» даже превосходил длиной головного правой «Суворова» на десять метров! Он потому показался Пэкинхему «пренебрежимо малым», что был гораздо дальше от него, чем «Суворов»!

Мне стало жалко Васю. Все-таки я привык, что он мыслил хотя и безответственно, но широко, а тут он, как трудолюбивый бездарь, закопался в куче малозначительных деталей: десять метров каких-то, правая колонна обогнала левую на половину длины...

– Вась, ты меня извини, но что это прибавляет к главной мысли твоей работы?

Вася смотрел на меня во все глаза.

– Как что? Я же тебе столько рассказывал про Цусиму! Старик, это же другое построение, чем считали прежде, а у новых кораблей правого отряда была выше скорость!

Я начал злиться.

– Так это помогло нам проиграть баталию или несколько задержало разгром?

– Это было гениально, – сказал Вася. – Гениально, понимаешь? Никто до Рождественского так не делал. Далее. Кульнев пишет: «На наших судах получались знаки японских переговоров – наш телеграф бездействовал». Кульнев недоумевает, почему, ну а ты-то, в конце двадцатого века, понимаешь – почему?

– Ни хрена я не понимаю, – признался я, возвращая ему тетрадь. – Политика – искусство возможного, история – искусство невозможного. В ней вечно, невзирая на известное правило, судят победителей, и никому это еще не удалось вполне. Случайно, Вася, не побеждают. Нас тоже победили не случайно.

– Ну нельзя же так, – скривился вдруг, как от боли, Вася. – Давай ограничим себя со всех сторон рамками так называемого здравомыслия, и ничего у нас не будет – ни истории, ни искусства, ни науки.

– А у нас и так ни фиги нет. Ладно, не обижайся: нашел ты себе с этим Рождественским в жизни нишу, и слава Богу. Без этого теперь нельзя – сломаться можно. Давай хлопнем по рюмочке за упокой души мичмана Кульнева и адмирала Рождественского? А потом за наше здоровье.

Вася неохотно, как мне показалось, кивнул. Разговор не получился и, что самое печальное, не возобновлялся на эту тему больше никогда, кроме одного раза, последнего перед нашим расставанием в этой жизни. Вася обиделся или утомился мне объяснять, – а может, и то, и другое.

Между тем морская тема не миновала и меня, человека сугубо сухопутного. Отойдя немного от октябрьского потрясения, я дал себе слово, что если и буду когда-нибудь еще заниматься так называемой общественной деятельностью и политикой, то только в тех областях, где можно сделать что-либо реальное помимо митингов и болтовни. Скоро такая возможность представилась: шла борьба за Черноморский флот, который Ельцин, казалось, готов был сдать. А флот, несмотря на бедственное положение, был вещью реальной. Я стал ездить в командировки в Севастополь, писал о флоте и Крыме и даже был приглашен участвовать в сборпоходе Черноморского флота.

Здесь-то я и понял отчасти Васино увлечение: не столько суть его, сколько поэтику.

Ты помнишь? В нашей бухте сонной  
Спала зеленая вода.  
Когда кильватерной колонной  
Вошли военные суда.

Мы выходили из Севастопольской бухты этой самой кильватерной колонной. Слева по борту был древний Херсонес, казавшийся отсюда маленьким и грустным. Говорили, что две трети его покоится под водой, и, возможно, мы проплывали именно над ним, как над неким

градом Китижем. Стоя перед камерой на фоне развалин, корреспондент программы «Вести» говорил со слащавой и развратной улыбкой: «Сегодня мы имеем уникальную возможность...»

Из низких туч, висящих над Севастополем, длинными стальными полосами наклонно пробивался солнечный свет – словно кто-то развернул гигантский, в полнеба, веер. Под ровное гудение двигателей корабль тяжело нырял форштевнем вниз и тут же могучим движением, точно потягиваясь, поднимался вверх. Похмельный, я стоял на ходовом мостике большого противолодочного корабля «Керчь» и смотрел на бегущую за бортом волну, каждый миг меняющую цвет в водовороте пены. В открытом море корабли разошлись, поплыли параллельными курсами. Стальная армада, завесив дымами горизонт, двигалась в центральную часть Черного моря.

Когда мы вернулись из похода, я зашел на знаменитую севастопольскую толкучку «на Остряках», чтобы купить домой какие-нибудь подарки. Мне бросилось в глаза, что рынок удивительно похож на мертвый город Херсонес планировкой бесчисленных, неотличимых одна от другой улочек-рядов (милетский архетип – «прямоугольная решетка, вписанная в овал») и занимает такую же примерно территорию, как сохранившаяся часть Херсонеса. Один муравейник умер, да здравствует другой! И в Херсонесе, оторванном от Эллады, Рима и Византии, и в имперском Севастополе, оставшемся без империи, все подчинялось одному желанию: выжить, добыть кусок хлеба на грядущий день. Как это по-человечески понятно (разве я сам не такой?), но как душно, уныло, неприкаянно в этой галдящей тесноте после вольного необозримого морского простора, рассекаемого форштевнем имперского дредноута!

Жизнь неотделима от рынка, но является ли рынок законом жизни? Разве спас он хотя бы одну гибнущую цивилизацию? Цивилизации умирали, рынок оставался. Он живуч, спору нет, но мы почему-то до сих пор изучаем историю государств и народов, а не рынков. Когда империя слабеет, рынок не поддерживает ее – он ее убивает. Сюда, в торжище, уходят и здесь перемалываются в костную муку творческие силы, вера, талант, изобретательность, воля народа. Уже и рынок окружен кольцом огня, а люди продолжают тупо думать о том, что можно купить и продать там, внутри. Это ли свобода, о которой нам талдычили обслуживающие лавочников мыслители?

Отчего же художники веками воспринимали рынок как бессмысленную и враждебную стихию?

Сегодня снова я пойду  
Туда, на жизнь, на торг, на рынок,  
И войско песен поведу  
С прибором рынка в поединок!

Какими наивными кажутся, если посмотреть на них отсюда, из этого деловитого муравейника, молодой, но уже седой артиллерист Николай Иванович, таскавший мне в каюту гильзы всевозможных размеров и по-детски радовавшийся попаданиям, смотритель Владимирского собора Альбина Абрамовна, добывшая двуглавого российского орла для паникадила, старичок, стоявший на митинге с плакатиком: «Великая Россия, вспомни о нас!», и наконец Вася, ищущий отсвет победы даже в заведомых поражениях! Зачем, ради чего метко стрелять, возиться с двуглавыми орлами, писать вышибающие слезу призывы, разгадывать тайны Цусимы, если эта великая Россия – уже только воспоминание, мир невидимый?

Затем, ответил я себе, что эти люди и есть великая Россия. Империи, даже самые кровавые, воспитывают в человеке идеал гармонии, красоты, самопожертвования, героизма, бескорыстного служения другим людям. Это цемент, который скрепляет духовное здание человечества. А что дал людям «человечный» рынок? Связан ли с ним хоть один светлый образ



в мировой культуре? Он похож на сочное розовое мясо, что выставляют на прилавках: чуть «перележало» на солнце – и уже потянуло от него падалью.

Вернувшись домой, я поделился этими мыслями с Васей, но выслушал он меня снисходительно, как неофита, и, неожиданно застеснявшись, продолжать я в этом духе не стал. Спросил его, как бы между прочим, и о диссертации, но он, отведя взгляд, сказал: «Нормально».

Васю убили в июне 1999 года в Косово, перед самым концом войны. Воевавшие вместе с ним наши добровольцы рассказали потом, как это случилось. Шиптары (албанцы) атаковали югославские позиции со стороны Проклятых гор, что на границе с Албанией. На высоте, которую занимали сербы и русские добровольцы, разорвалась мина, за ней последовали еще. Был убит один солдат, несколько человек ранены, в том числе наш доброволец. Сербы стали отходить, унося убитого и раненых. Прикрывать их остался Вася. Когда закончился бой, его нашли мертвым, с развороченными брюшиной и грудной клеткой, на пальце у него было кольцо от ручной гранаты, в автомате – пустой магазин. Вася был в маскировочном халате, который, вероятно, помешал ему вытащить новый магазин из «разгрузочного» жилета. Русская трагедия: или – или... Вытащил бы – и глядишь, продержался бы до подхода подкрепления... Но победа снова не далась ему в руки... Тогда, видя, что он не успевает, Вася, чтобы не попасть в плен к шиптарам, подорвал себя гранатой.

Война, которой отдал свою жизнь Вася, закончилась через несколько дней унижительнейшими Кумановскими соглашениями, обесмыслившими страдания сербского народа, но гибель Васи вопреки логике наших прежних споров не казалась мне теперь бессмысленной.

Перед отъездом в Югославию он пришел ко мне и сказал, что просит взять на хранение свою диссертацию.

– Ты же знаешь, что мы, добровольцы, вне закона, могут нагрянуть с обыском, увезти бумаги, а потом ищи-свищи! Можешь и прочитать, – добавил он как бы невзначай, – хотя бы заключительную часть. Она – главная.

Прочитав рукопись, испытал я чувство глубочайшего стыда и раскаяния перед Васей, и не потому, что он убедил меня в своей правоте – как раз об этом я даже не думал, читая. Да и что такое историческая правота? Кто перед кем прав или неправ? Дело было в другом – в понимании Васей русской трагедии, которую я снобистски отказывался понимать. Думал я: вот вернется Вася, повинюсь перед ним, поговорим наконец по душам, как в былые времена...

Но поздно, поздно... Все в этой жизни надо делать вовремя, в том числе и совершать духовное усилие над собой. У меня даже мелькнула мистическая мысль, что если бы я в свое время духовно поддержал Васю, было бы у него больше уверенности в себе, – глядишь, изловчился бы и достал магазин... А еще лучше было бы, если бы я оказался рядом с ним там, в Проклятых горах, как когда-то в октябре 93-го... Но я без особых, надо сказать, колебаний решил, что буду более полезен здесь, поднимая людей на защиту Югославии своими статьями. Удобная позиция...

Может быть, я хоть в малой степени исправлю вину перед Васей, представив на суд читателей здесь последнюю главу его рукописи, действительно ключевую и важнейшую. Она называется «Четыре вопроса мичмана Кульнева».

*«Итак, мы идем в Цусимский пролив, – писал мичман Кульнев. – 13 мая был поднят сигнал адмирала Рожественского: „Приготовиться к бою, с утра расцветиться стеньговыми флагами“, был сигнал об увеличении хода. Мы имели возможность войти в пролив ночью, но опасения из-за минной атаки заставили адмирала ждать ночь перед входом в Цусимский пролив. Мы изменили курс, ночью наша эскадра была освещена и шла в 4 кильватерные колонны, чего я не могу понять – японцы могли произвести благодаря такому строю очень успешную атаку. Попадись японские миноносцы в середину нашей эскадры, нам суждено было бы попасть в свои же суда. Кроме того, мы были освещены не так, как мы шли с Небогатовым; было*

*ясно, что мы около боя и минной атаки должны были ждать с минуты на минуту – удивляясь самим японцам, как они пропустили эскадру; чем они руководствовались, что атаку производить не следует? Рассчитывали на верную победу с нашими усиленными кораблями? За три дня они каждую минуту знали о местонахождении нашей эскадры. Мы теперь находились недалеко от пролива; а что, если бы нам его пройти? Было бы лучше, прошли бы ночью и ближе были бы к Владивостоку, никаких мин там быть не могло; атака около пролива в море и в самом проливе мало отличались бы. Почему мы ждали?*

*Два дня никто из нас уже не спал, нервы наши взвинтились, в особенности вечером или ночью, когда только и ждешь боевой тревоги. Ночь прошла совершенно спокойно. Утром 14 мая 1905 года мы усмотрели первое японское судно, крейсер по типу «Идзуми», он был с правой стороны, далеко от нас, кабельтовых в 15, это был разведчик, он все время телеграфировал; на наших судах получались знаки японских переговоров – наш телеграф бездействовал. Крейсер «Урал» при эскадре, вспомогательный, имел лучший по силе волны телеграф, он мог передавать волну на 600 миль, мог сжечь их аппарат. Когда крейсер «Урал» поднял сигнал о желании сжечь аппараты на японских судах, Рождественский запретил телеграфировать (?). Около 11 часов (в 10 час. 30 мин.) на левом траверзе появились 4 легких японских крейсера, они нахально шли контркурсом с нами. III броненосный отряд открыл огонь по ним, и снаряды ложились очень хорошо, [но] с флагманского корабля был поднят сигнал: «Не бросать даром снарядов»; около 2-х часов слева по носу показались главные силы японского флота – как всегда, впереди шел «Миказа», а за ним три броненосца и 8 бронированных крейсеров, – это было главное ядро японского флота. С утра мы имели ход 12 узлов; почему-то главные наши силы, броненосцы типа «Суворов», были вправо от нас, – почему было такое построение, я не знаю, может быть, главными силами с крейсерами «Жемчуг» и «Изумруд» можно было обрушиться на главные силы неприятеля,?»*

На этом обрываются дошедшие до нас записки Ильи Кульнева. Они названы им «Цусима», но самого Цусимского боя, ради которого, конечно, они и писались, в них нет. Бой начался 14 мая 1905 года в 1 час 49 мин. по меридиану Киото, а последнее время, указанное Кульневым: «около 2-х часов» 14 мая. Допускаю, что Илья Ильич не в силах был пережить снова, хотя бы и в воспоминаниях, трагедию в Корейском проливе. Последние фразы записок – сплошь вопросы, задыхающиеся, мучительные, тоскующие, продолженные в бесконечность ненормативной пунктуацией (запятая и вопрос).

Но ниже Кульнев оставил поистине бесценную схему построения и движения обоих флотов. Что на ней изображено?

Слева сверху – силы японского Соединенного флота под командованием адмирала Хейхатиро Того, 12 боевых кораблей (на схеме Кульнева 10): 4 броненосца и 8 броненосных крейсеров, отвечавших всем требованиям современного морского боя.

Справа – I отряд эскадры вице-адмирала Рождественского, новейшие эскадренные броненосцы «Князь Суворов», гвардейский «Император Александр III», «Бородино» и «Орел».

Слева внизу – выстроенные в одну кильватерную колонну суда II и III русских отрядов: II – броненосный крейсер «Ослябя», броненосцы «Сисой великий», «Наварин», крейсер-броненосец «Адмирал Нахимов», в основном устаревшие и изношенные (вышли из вод Балтики вместе с Рождественским); III – броненосец «Николай I» и три броненосца береговой обороны: «Апраксин», «Сенявин» и «Ушаков», составлявшие костяк небогатовской эскадры.

Повисшие в воздухе мучительные вопросы Кульнева, собственно, и являются основными претензиями военных историков к Рождественскому, поэтому задача моя в значительной степени облегчена: я построю заключительную часть своего исследования в форме ответов на эти вопросы. Как ни странно, но нам с точки зрения имеющейся ныне суммы сведений о Цусимском сражении есть что сказать его непосредственным участникам: ведь небогатовские офи-

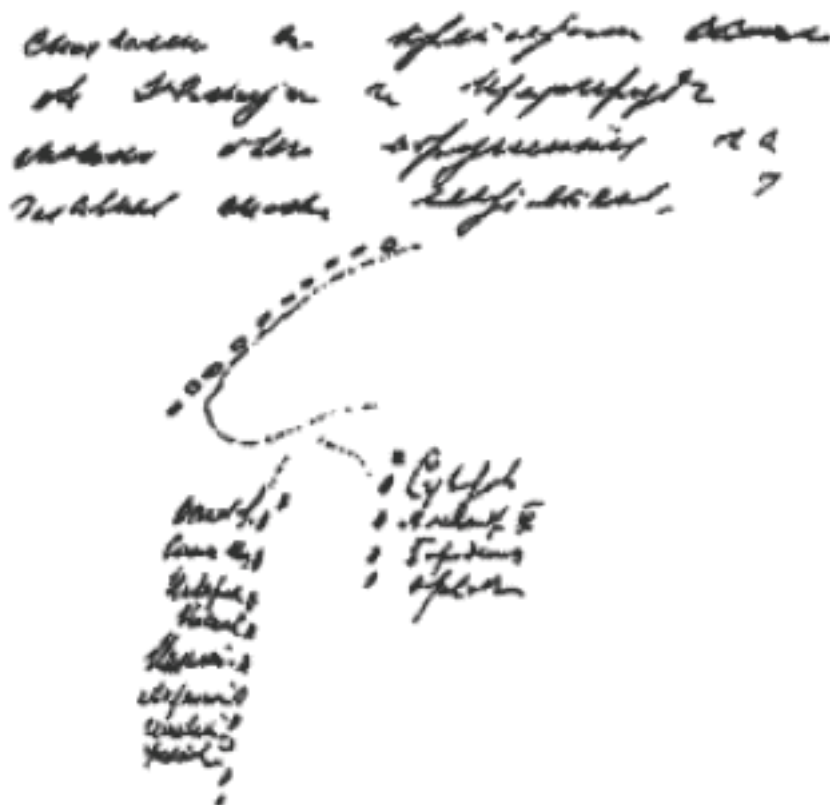
церы, по признанию Кульнева, не знали не только стратегических задач соединения с Роже-  
ственским, но часто и ближайших целей плавания, не говоря уже о вестях с театра войны или  
с Родины.

Одной проблемы следует коснуться особо: речь идет о якобы плохой стрельбе русских  
артиллеристов. Кульнев пишет: «в 10 час. 30 мин... III броненосный отряд открыл огонь... сна-  
ряды ложились очень хорошо». Современный историк В. Чистяков: «В 1 час 49 минут пополу-  
дни левая носовая шестидюймовая башня броненосца „Князь Суворов“ отдала пристрелочный  
выстрел... первый снаряд Цусимского сражения миновал неприятельского флагмана лишь с  
небольшим перелетом» («Четверть часа в конце адмиральской карьеры»). В первые 15 минут  
боя русский снаряд угодил в капитанский мостик флагмана «Миказа», едва не убив самого  
Того, три попадания вывели из строя руль броненосного крейсера «Асама». Всего, по дан-  
ным японцев (а они, как согласно свидетельствуют многие историки, имели тенденцию сильно  
занижать потери), флот Того получил 150 попаданий крупного калибра, причем 30 из них при-  
шлось на флагман «Миказа».

Итак, перейдем к вопросам Кульнева и его схеме:

### **1. «Мы теперь находились недалеко от пролива; а что если бы нам его пройти?... Почему мы ждали?»**

Это первый и одновременно, я полагаю, главный вопрос. Если действия Роже-  
ственского, согласно общепринятому мнению, и были ошибками, то это, надо полагать, основная, ибо  
«главный и единственный шанс на спасение» русского флота – была «возможность проскочить  
незамеченным» (Чистяков). «Ухудшение видимости (скажем, густой туман) здесь не препят-  
ствовало бы, а способствовало успеху прорыва русских судов». Однако по изложению событий  
Чистяковым можно сделать вывод, что к этому Роже-  
ственский и стремился. А вот Кульнев  
свидетельствует обратное: «... мы имели возможность войти в пролив ночью, но опасения из-  
за минной атаки заставили адмирала ждать ночь перед входом в Цусимский пролив. Мы изме-  
нили курс, ночью наша эскадра была освещена...» Вспомним и рассказ Кульнева о том, что на  
траверзе Сингапура местные рыбаки не заметили искусно светомаскированные корабли Небо-  
гатова. Роже-  
ственский же шел при полном освещении. Разумеется: у японцев, кроме визу-  
ального, имелись и другие способы разведки. Но факт остается фактом: в 2.25 утра 14 мая  
японский крейсер-разведчик «Синано-Мару» заметил огни «Костромы», плавучего госпиталя  
Роже-  
ственского, два часа шел в хвосте русской эскадры, а потом передал по радио на флагман:  
«Они здесь!..» А если бы «Кострома» и другие суда шли с потушенными огнями, когда бы их  
обнаружили? И как можно было бы использовать выигранное время?



Одно мешает произнести окончательный приговор этим действиям Рожественского – демонстративность освещения судов. Он явно не хотел ничего скрывать от противника. Почему?

Здесь мы подходим к вопросу, что Кульнев знал и чего не знал. После падения Порт-Артура проблема разблокирования его с моря отпала. Кульнев, как и другие, видел цель эскадры Рожественского в том, чтобы пройти во Владивосток, соединиться с остатками 1-й Тихоокеанской эскадры и, базирясь в русских прибрежных водах, восстановить утраченные позиции в Японском море. Однако Рожественский, уже в ходе плавания, получил по телеграфу совершенно другие указания. «Двукратно в телеграмме царя на имя Рожественского указывается, что не *прорыв* во Владивосток ставится целью эскадре, а *завладение* Японским морем, то есть бой с главными силами японского флота и поражения их» (М. Петров. Трафальгар. Цусима. Ютландский бой). Таким образом, у Рожественского не было особой нужды маскироваться ночью в Корейском проливе, он имел другую стратегическую задачу, заведомо ошибочную. Но приказы, как известно, не обсуждаются.

## 2. Почему «Рожественский запретил телеграфировать»?

В сущности, Кульнев несколькими строками выше сам ответил на свой вопрос: «... на наших судах получались знаки японских переговоров – наш телеграф бездействовал...» За многие годы существования телевидения не сразу догадались, что можно в прямом эфире иметь обратную связь с телезрителями с помощью телефона, хотя тому не существовало никаких технических препятствий. Поначалу так было и с радио. Техническая новинка – беспроводной телеграф – использовалась в 1905 году военными по прямому назначению: для приема и передачи сообщений. Рожественскому принадлежит несомненное открытие – радио-разведка путем принятия чужих сообщений. Отсюда и резкая его команда: «Не мешать!» командиру крейсера «Урал», радиостанция которого могла «сжечь аппараты на японских судах». Поэтому и не соблюдалась светомаскировка: чем раньше японцы обнаружили бы нас, тем

скорее начали бы передавать радиосообщения. Помимо свидетельства Кульнева, применение радиоразведки подтверждают и ранее опубликованные документы: «Кораблям эскадры было воспрещено сноситься по телеграфу без проводов и приказано неотступно следить за получающимися телеграммами» (*Русско-японская война 1904–1905 гг. Документы. Кн. 3. Вып 1. СПб., 1912*).

### **3. «Почему... главные наши силы, броненосцы типа „Суворов“, были вправо от нас? почему было такое построение?»**

Вернемся к рисунку Кульнева – ибо он и на этот раз частично ответил им на свой же вопрос.

«Лучшим способом действий в правильном бою двух броненосных флотов считался в то время „маневр поперечной палочки над буквой „Т“, то есть охват головы и хвоста неприятельской колонны... флот, выигравший начальную позицию „палочки над „Т“, получал над своим противником не менее чем двойное огневое превосходство и в первые же минуты боя мог нанести ему непоправимый урон“ (Чистяков). На схеме Кульнева Того так и действует, в узком месте Цусимского пролива преграждая своей „палочкой“ Рождественскому путь вперед и вправо. Рождественский в 9.50 утра тоже построил эскадру в одну боевую колонну. Об этом доложил на японский флагман крейсер типа „Идзуми“, который, по словам Кульнева, „был с правой стороны, далеко от нас, кабельтовых в 15, это был разведчик, он все время телеграфировал“. Но неожиданно в 12.20 Рождественский отдает приказ перестроиться в две колонны, как изображено у Кульнева, тем самым нарушая заповеди современного морского боя. На первый взгляд, маневр вроде ослаблял огневую мощь русской эскадры, а кроме того, Рождественский, „имея слабейшие суда в самостоятельной колонне, рисковал быть разбитым по частям в первые же минуты боя“ (Чистяков). Все это так... если бы обе русские кильватерные колонны двигались вровень с головными судами. Кстати, поначалу так думал и Того, и иностранные военные наблюдатели на его судах. Между тем правый отряд был продвинут вперед левого на половину своей длины. Ему не потребовалось бы много времени, чтобы, имея преимущество в скорости, сместиться вперед и влево и снова образовать с судами II и III отрядов одну боевую колонну. Японцы, полагая, что перед ними две правильные параллельные колонны, левая из которых будет закрывать их от залпов правой; имели все основания надеяться, что, надвинувшись своей „перекладиной“ на левую колонну, уничтожат «музейные образцы», а потом возьмутся за ослабленную правую. Здесь самое время перейти к последнему вопросу Кульнева:

### **4. «Может быть, главными силами с крейсерами „Жемчуг“ и „Изумруд“ можно было обрушиться на главные силы неприятеля?...»**

В сущности, Рождественский, разделившись вдруг на две колонны, и преследовал эту цель. Того долгое время был уверен, что русские идут одной кильватерной колонной, и торопился занять удобное для атаки место в проливе. Очередная разведка, посланная им, теперь слева по ходу эскадры Рождественского («4 легких японских крейсера», по которым, как пишет Кульнев, адмирал запретил «бросать даром снаряды»), около 11 часов подтвердила первоначальный курс русских. В 1.39 пополудни по меридиану Киото, когда Того смог уже в бинокль увидеть русские суда, ему оставалось для того, чтобы «палочка» пришла в идеальное положение, лишь повернуть на 55° вправо. Но перед ним была уже не одна, а две параллельных колонны, причем слабейшая – ближе. В 1.45 последовал неожиданный приказ повернуть резко влево: Того посчитал, что у Рождественского нет больше времени для обратного перестроения в одну колонну, и решил атаковать его на встречно-пересекающемся курсе. Но дальше, если судить

по рисунку Кульнева, начало происходить нечто еще более неожиданное: японские суда продолжали забираться резко влево, пока не повернули почти на 180°! Что произошло? Пунктирная линия Кульнева, идущая от правого отряда русских, показывает, что Рождественский велел ему выходить в голову левому, а тот, в свою очередь, сместился вправо. Для этого русским потребовалось не 25 минут, как если бы они шли двумя правильными параллельными колоннами, а вдвое меньше, учитывая скорость броненосцев типа «Суворов». В 1.49 (1.30 по меридиану Владивостока) загрохотало по «Миказе» левое башенное орудие флагмана «Суворов». Начался Цусимский бой. «Все японские корабли должны были последовательно, один за другим прийти в некоторую точку и повернуть на 180°, причем эта точка оставалась неподвижной относительно моря, что значительно облегчало пристрелку русской артиллерии» (Чистяков). «... А кроме того, даже при скорости 15 узлов перестроение должно было занять 15 минут, и все это время суда, уже повернувшие, мешали стрелять тем, которые еще шли к точке поворота» (В. Семенов. Бой при Цусиме). Рождественский заставил все корабли Соединенного флота пройти перед дулами своих лучших броненосцев, «обрушился на главные силы неприятеля», как того желал Кульнев. План русского адмирала был универсальным: как бы ни повернул Того, он представлял под пушки броненосцев типа «Суворов» либо арьергард, либо авангард своей колонны.

«... Я ввел в бой эскадру – в строе, при котором все мои броненосцы должны были иметь возможность стрелять в первые моменты по головному японской линии... Очевидно... первый удар нашей эскадры был поставлен в необычайно выгодные условия... Выгода этого расположения нашей эскадры должна была сохраняться от 1 часу 49 минут до 1 часу 59 минут или несколько долее, если скорость японцев на циркуляции была менее 16 узлов. Но...» На этом «но» я позволю себе оборвать цитату З. П. Рождественского. Как часто в нашей истории встречается это «но»!

Все дальнейшее напоминало дурной сон, когда ты бьешь врага, но кулаки пронзают пустоту. Вопреки всякой логике, в течение следующих 10–15 минут головные броненосцы японцев не были разнесены в клочья, они с незначительными повреждениями спешно покинули гибельную зону, построились в новую линию и, имея преимущество в скорости и артиллерийских калибрах, обрушились на наши корабли. Бой вместо 15 минут, как надеялся Рождественский, продолжался еще почти сутки. Японцы сожгли, потопили, взяли в плен суда русской эскадры, исключая крейсер «Алмаз» и два контрминоносца, прорвавшихся во Владивосток. Было убито и пропало без вести 5045 наших моряков, около 6000 взято в плен. Тяжело раненый в голову и в обе ноги Рождественский попал в число последних. По возвращении из плена он сам подал в отставку и, по некоторым признакам, искал смерти. Во всяком случае, на заседании в Кронштадте 21.06–26.06 1906 года военно-морском суде по поводу сдачи 15 мая 1905 года миноносца «Бедовый» Рождественский утверждал, что находился в сознании, кивком головы одобрил сдачу и за это признавал себя подлежащим смертной казни. Суд оправдал его. 1 января 1909 года он умер.

Того лишился трех миноносцев и увел на ремонт с серьезными повреждениями несколько броненосцев и крейсеров. «Маневр Того», который на рисунке Кульнева напоминает обыкновенное бегство, был сочтен специалистами последним словом военной морской мысли. О «маневре Рождественского» исследователи, исключая В. Семенова в начале века и В. Чистякова в конце, добрым словом не вспоминали, однако именно после Цусимы тактика «построения палочки над „Т“» уже не считалась теоретиками морского боя идеальной. Того, допустим, повезло, а вот для других «уступ Рождественского» мог оказаться роковым.

Почему же не повезло его автору? Упоминавшаяся мной версия о плохой стрельбе наших канониров, которую, кстати, разделял сам Рождественский, вызывает обоснованные сомнения не только у отечественных исследователей, но и у зарубежных. Английский историк Вествуд, автор книги «Свидетели Цусимы», приводит наблюдения своего соотечественника, капитана Пэкинхема: «Первый пристрелочный выстрел Рождественского лег всего в двадцати двух ярдах

по корме „Миказы“... и быстро следовавшие за ним русские снаряды ложились почти так же близко... Каждый последующий корабль приближался к „горячей точке“ и входил в нее, с удивительным везением избегая серьезных повреждений». «Вполне возможно, – делает вывод Вествуд, – что если бы разрывалась большая часть русских снарядов, то результат сражения мог бы стать иным».

А В. Чистяков выдвигает предположение, что принятые русским Морским техническим комитетом в 1892 году на вооружение флота «облегченные артиллерийские снаряды», в замысле пробивавшие любую броню на дистанции 5,5 км, не взрывались потому, что запальные трубки «облегченных бронебойных» были замедленного действия: «для того, чтобы снаряд, пройдя первую... преграду, взорвался внутри корабля». Но, уверяет Чистяков, «расстояние между противниками превышало предельные 5,5 километра», а «нарочитое замедление» привело к тому, что при попадании в небронированные поверхности русский снаряд пронзал оба борта навылет, не успев взорваться... наконец, заполнявший снаряд пироксилин имел повышенную влажность (до 30 процентов), и, даже когда взрыватели срабатывали нормально, добрая половина русских снарядов не разрывалась».

Японские же разрывались, да еще как, ибо обладали не столько бронебойным, сколько фугасным действием. Они были начинены лиддитом, или, по-японски, шимозой, которая «исправно разрывала борта, вспучивала палубы, выкашивала людей смертельным разлетом осколков...» (Чистяков). «... Снаряды... рвались от первого прикосновения к чему-либо, от малейшей задержки в полете. Поручень, бакштаг трубы, топорик шлюпбалки – этого было достаточно для всепоглощающего взрыва... А потом – ... это жидкое пламя, которое, казалось, все заливает! Я видел своими глазами, как от взрыва снарядов вспыхивал стальной борт. Конечно, не сталь горела, но краска на ней!» (Семенов). По подсчетам Чистякова, по весу выбрасываемого в минуту взрывчатого вещества японцы превосходили нас примерно в тридцать раз.

Однако при всей убедительности этой версии нельзя не сказать о том, что других вариантов сражения, кроме того, что мог привести к победе за 10–15 минут, у Рожественского, очевидно, не было. Вероятно, если бы он командовал немецкой эскадрой, с избытком хватило бы и этого плана. Но когда у тебя две трети устаревших и тихоходных судов... По свидетельству Небогатова («Цусимский бой», газета «Наша жизнь», 9-10.02.1906), Рожественский, после того, как план его рухнул, вплоть до шести вечера, когда его сняли раненого с «Суворова», не отдал ни одной команды судам эскадры. Да и с негодными снарядами не все ясно: ведь героически погибшие годом раньше «Варяг» и «Кореец» имели, скорее всего, в арсенале те же «бронебойные облегченные», а урон японцам нанесли немалый. Не исключено, конечно, что у них пироксилиновые заряды не отсырели, что расстояние между «Варягом» и «Корейцем» и японской эскадрой было менее 5,5 км...

Я же думаю, что, кроме негодных съестных припасов и пораженческих листов, моряки получали в Кронштадте и

Либаве еще испорченное вооружение. Связь тогдашнего революционного движения с японской разведкой давно доказана. «В числе японских шпионов были такие лица, как провокатор Азеф, „поп“ Гапон, Иосиф Пилсудский и другие», – сказано в БСЭ выпуска 1941 года. Напомню, что Азеф возглавлял Боевую организацию партии социалистов-революционеров, а Пилсудский – Польскую социалистическую партию; что же касается Гапона, то про него рассказывать не надо, хотя мало кто знает, что он стал после января 1905 года членом РСДРП, а в апреле 1905-го организовал в Париже конференцию всех социалистических партий, включая и большевиков. «Японские уши» торчат из либавских прокламаций, о которых упоминает Кульнев. Зачем будущим латышским стрелкам призывать матросов «не идти на верную смерть» в Японском море? Они что, любили русских матросов? Да пусть идут, уведут эскадру из Либавы! Но как раз это-то невыгодно было японцам...

Возвращаясь к запискам Кульнева, а сквозь их призму неизбежно к сегодняшнему дню, нельзя не сказать о таком условии победы, как воля к ней. Ведь даже в блестящем Синопском деле русская эскадра по военно-техническим характеристикам уступала турецкому флоту. Но тогда русские моряки были представителями единого, нерасколотого народа. А здесь – газеты радуются малейшему поражению армии и флота своей страны, на берегу мятежи, забастовки, митинги, латышские портовые рабочие спаивают команду, тюками приносят разлагающие прокламации, матросы грубят, не выполняют приказов, убивают офицеров... В открытом море многое изменилось, но ни одна в мире армия, ни один флот не избегают разброда в своих рядах, если он царит в государстве. Победа, помимо всего прочего, это еще и моральное состояние народа. Блестящий план военного технократа Рождественского был рассчитан на других исполнителей, на иной боевой дух.

Но можно ли сказать, что пять тысяч героев погибли напрасно? Нет, подвиг, как и всякое высшее проявление душевной энергии, не исчезает бесследно в мире. Быть может, тем, кто спустя 40 лет взял на Дальнем Востоке молниеносный реванш за Чемульпо, Порт-Артур и Цусиму, помогали души беззаветно погибших там героев? Для тех же, кто не верит в существование души, Цусима и несбывшиеся надежды адмирала Рождественского – подходящий повод, чтобы вспомнить об ошибках прошлого: ибо тот, кто о них не помнит, обречен, как известно, их повторять».

У меня даже пробежали мурашки по спине, когда прочитал я про души героев. Да, да, Вася прав – все не напрасно! И великие победы наши потому и были великими, что вырастали из великих поражений. Помните гитлеровскую кинохронику лета 1942 года, после нашего сокрушительного поражения под Харьковом? Грохочущие по пыльному шляху под безжалостно палящим солнцем танки, на броне – голые по пояс, а то и вовсе в одних трусах веселые немецкие парни. Мускулистые торсы, белозубые улыбки, губные гармошки... Едут испытать стальными шеломами воды из Волги... Но вот отмелькали крупные планы и пошла панорама бескрайней донской степи, по которой извивается стальная змея. Издали она уже не кажется такой страшной. Ну, танки, ну, пушки... Но вокруг-то – необозримые, почти космические пространства... Куда же вы едете, дурашки? Тут многие ездили – вон их кости вдоль шляха белеют...

Да, были у нас тогда чудо-полководцы – Жуков прежде всего. Но было и еще кое-что. Немецкие историки любят разьяснять: мол, русские прорвали фронт на позициях итальянцев и румын, а манштейновским танкам не хватило всего на километр горючего, чтобы пробиться к окруженному Паулюсу... нет, не бензина вам не хватило!

Вам не хватило того, что было у русского солдата, который, увидев, что рушится мост, принял, как атлант, на плечи его ферму и так стоял, пока по мосту ехала техника! Он остался жив-здоров, этот солдат! Взводы бросались из окопов в штыковую против полков – и полки лучших, искуснейших бойцов Европы отступали, обливаясь кровью! Может быть, всему причиной заградотряды, о которых тоже любят писать немецкие историки?

Да, за плечами наших солдат были заградотряды – отряды грозных ангелов Господних с пылающими мечами в руках. И невидимо входили они в наших воинов, и те, с особенным блеском в глазах и странно, нечеловечески бледнея – той бледностью, что описана Гомером у героев «Илиады», – разили «терминаторов» налево и направо пачками... А закосневшие в материализме историки тянут свою тоскливую песнь – бензин, итальянцы... Отчего вы историки, коли история вас ничему не учит?

Ныне собирает Запад новую рать – мировую, чтобы навалиться на нас уже не двенадцатью языками, а всей языческой тьмой... Ох, не за горами Генассамблея ООН, когда, подавив «вето» китайцев, две сотни марионеток скажут вслед за Вашингтоном: «Или миру быть живу, или России!»



И поплывут к нашим берегам авианосцы, замаршируют под Харьковом звездно-полосатые пехотинцы, а под

Усть-Каменогорском – пакистанские... Добро пожаловать, господа миротворцы! Места всем хватит – среди нечуждых вам гробов, естественно... Уж коли Господь определил нам судьбу – ломать хребет люциферовым ратям, отчего мы, маловерные, думаем, что на этот раз все будет по-другому? Ведь история – это не книга не связанных друг с другом фактов, это книга нравственных уроков, которые Господь преподнес человечеству.

Стреляй же, сынок, в невидимых врагов! Это не выдуманный мир – они, супостаты, скоро объявятся во плоти. Русские мальчики, приходящие на смену цусимцам, сталинградцам, приднестровцам, Васе, целятся, забыв про уроки, в каких-то до зубов вооруженных поганцев, вылезающих из помойной ямы телевизора, – и как знать, может быть, они прозорливее нас, скучно долбящих про выдуманный мир. Ведь духовная брань происходит сначала в невидимом мире, а бомбы сыплются на наши головы потом. Но мы предадим свою надежду, свое будущее, если наши дети выйдут на эту великую брань, как в Цусимском бою, – с нестреляющими пушками и разбитыми автоматами.

## Лидия Сычёва



**СЫЧЕВА** Лидия Андреевна родилась в селе Скрипникове Калачеевского района Воронежской области. Училась на историческом факультете воронежского пединститута, в 2000 году с отличием закончила Литературный институт им. А. М. Горького. Первая литературная публикация – «Деревенские рассказы» («Новый мир», 1998, № 1). Прозу, критику, эссеистику печатала в литературно-художественных и общественно-политических изданиях – в «Нашем современнике», «Москве», «Слове», «Сельской нови», в «Российском писателе», «Московском литераторе», в интернет-журнале «Русский переплет». Во время обучения в Литературном институте была главным редактором самиздатовского студенческого журнала «Молоко» («Молодое око»). Лауреат премии журналов «Москва» (1999 год, проза), «Сельская новь» (2000 год, очерк и публицистика). Автор книги «Предчувствие».

Член Союза писателей России. Живет и работает в Москве.

## ЖУРАВЛИ

### I

*Журавль, журавль, журавель, жура, журика, журангька, журичка,  
журишка...*

*Из Даля*

Какие бесцветные бывают в ноябре дни! Морозы – не пришли, снега – не упали... Небо – сплошная пустая туча, валится на плечи, прижимает к земле. Серо все, серо. Вроде нет и дождей, но везде грязь, только последние листья на деревьях влажные, яркие. Пропавшая осень в городе – тело ее связано дорогами, магистралями, птицы ее – воробьи да вороны у мусорных баков, звери ее – собаки-дворняги с несчастливой, больной, как они сами, судьбой. А людям – надо есть. Десятками тысяч тонн огромный город проглатывает продовольствие, каждый день, каждый час. Есть, чтобы жить. Голод – не тетка. Голод – бизнес.

Город схвачен продовольственными рынками, магазинами, ларьками, одинокими продавцами с лотками. Но главное – рынки. Настоящий бизнес – многорукий, как спрут. От него не уйдешь, не улетишь. Он тебя всегда прижмет. Щупальца голода. Люди вслед за куском мяса пойдут куда угодно, хоть в пропасть. Фарух, директор фермерского рынка, знает это наверняка.

«Фермеры» Фаруха – Ахмед, Муса, Гоги, Казбек. И еще добрые две сотни кавказцев, никогда не вырастившие хлеб или овощи, скотину или птицу. Они презирают крестьян, их примитивный труд и расчет, как когда-то в Греции господа презирали рабов. Фермеры Фаруха – оптовики-перекупщики, монополисты-рыночники. Они умеют делать дела. Они не боятся ножа и крови. Они – сильные, богатые, держат свои семьи в достатке и без боя берут местных девушек – на забаву и на работу.

Фарух обходит свои владения. Прилавки забиты голландскими окорочками, завалены астраханской рыбой, подмосковными овощами, среднеазиатскими фруктами, турецким изюмом. Многоязыкая кавказская орда подчиняется Фаруху – он все еще самый сильный, самый хитрый и самый беспощадный среди всех. Он прошел через драки и разорения, поджоги и покушения. Он умеет пить русскую водку и творить молитву Аллаху. Придет время, и Фарух сменит более достойный – он знает. Фаруха застрелят у лифта, а похоронят, все еще по обычаю, на родине. Но пока он правит рынком и тысячами голодных, что приходят и приезжают сюда с пакетами и сумками, колясками и мешками. Такова жизнь, ничего не поделаешь. Пишу надо купить, если не можешь отнять.

Но какая мерзкая, давящая погода в этой денежной Москве! Рыночный гул, гортанные крики продавцов, шум машин на дороге... Фарух прислушивается. Звонкие голосенки и пиликанье гармошки. Опять!

Он просто летит к главным воротам, летит, насколько ему позволяют грузная его комплекция и скопления покупателей на дороге.

У входа в рынок, как и три дня назад, на пластмассовом ящике из-под пива сидит знакомая парочка. Бомжи или пенсионеры – Фарух в это не входит: все едино. Мужичонка мал, тщедушен, в заношенной фуфайке и штанах, в зимней шапчонке – одно ухо с оборванной веревкой лихо задрано вверх, в бабьих резиновых сапогах. Подруга его – кругленькая, дробенькая, с побитым морщинами личиком, на котором, впрочем, яблочками краснеют щеки; в старом коричневом платке, пальтишке, войлочных ботах. Они поют. У мужичонки – гармонь, в ногах у бабы – обрезанный наполовину молочный пакет – для денег. В коробке уже тускло светятся два или три кругляшка.

Как ни был Фарух раздражен, и хоть ухо его с детства привыкло слышать другую музыку и другие инструменты, но все ж он невольно помедлил. Гармошка, разводя цветастые меха, яркие, радужные, ситцевые, сыпала звуки, добавляла басы, вела мелодию, и мужичонка, что ни говори, дело свое знал. А потом, если бы пара была на жалость, давила слезу... Но дуэт, видимо, с утра пропустив по стакану, был в хорошем расположении духа. Мужичонка наяривал, баба выводила:

Цыганочка, аса, аса,  
Цыганочка, черноглаза,  
Цыганочка, черная,  
Па-га-дай...

Музыканты закончили номер на большом подъеме. Фарух шагнул вперед:

– Слюшай, я тебе говорил прошлый раз, говорил?

– А че, – мужичонка ловко, резиновым сапогом, подгреб коробку с монетами к ящику. –

Мы поем, людей веселим...

– Слюшай, я тебе говорил: у нас солидный рынок, не отпугивай покупателя.

– Имею право, – петушится мужичок, – как гражданин России петь где угодно.

– Слюшай, дед, – угрожает Фарух, – мои ребята тебя в порошок сотрут. Вали, а?

Они долго препираются. Все же кавказское воспитание не позволяет Фаруху дать старику под зад. Как и в прошлый раз, он сует паре пятидесятирублевую бумажку, и стороны, удовлетворившись достигнутыми результатами, расходятся...

## II

*Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки.*  
**Пословица**

Наши электрички, плетущиеся к Москве по унылой осенней равнине – какие они старые, избитые и изношенные! Им, конечно, со временем придет конец, как и их пассажирам. Люди в старых электричках тоже старые, или пожилые, или очень старые. Эти седые головы, изношенные лица, сбереженные от лучших времен одежды, выцветшие взгляды, потерявшие силу руки... Смерть запустения шатается по вагонам, бестелесная, цепкая, приставучая. Смерть нельзя победить или обмануть. Но на нее, пока есть силы, можно шикнуть, прогнать. Пошла вон, проклятая!

Поля, поля, леса, леса, небеса, небеса! Старая песня колес. Она ест сердце, потому что нет в дороге цели. Старые люди везут в старых руках молодые саженцы деревьев. Куда, зачем?

Потемнелые, без солнца, пейзажи за окном, косые дожди, невеселые думы. Лязг дверей – опять контролеры, или шатуны-торговцы, или...

Самые старые лица – светлеют. Саженыцы напрягают каждую веточку так, будто в них запульсировал молодой сок. Дед в шляпе отвернулся к окну, плечи его сотрясаются. Он – плачет. Как ребенок. Это – музыка.

Два баяна явились народу. Два хороших концертных баяна, надежных, проверенных временем. Музыка бушует в вагоне. Наша музыка. Только бы не кончалась, не уходила! Еще, еще! «Отговорила роща золотая». «Прощание славянки». «Амурские волны». «Что стоишь, качаясь...» «Коробейники».

Они собрали деньги, не чинясь, не унижаясь, с достоинством.

– Петя, – скомандовал обладатель большого выборного баяна, видный статный мужчина лет пятидесяти, – садись, уж доедем до Сортировочной, не будем бегать.

Петя, постарше, посуше, с усами, выбеленными сединой, кивнул.

Вагон, разбуженный музыкой, все вздыхал, переживая, и робко, с надеждой, поглядывал на музыкантов. Вожак сам, видимо, был взволнован.

– До чего дожили! – он усмехнулся. – Артисты Москонцерта, по электричкам деньги собираем. А какое звучание, какой инструмент! – он любовно, огромной своей лапой погладил малахитовый корпус баяна. – Музыка людям не нужна! Ха! А что ж им нужно? Долбежку современную – два притопа – три прихлопа? Молодежь растет – вообще не понимает, что такое русская мелодия. Без укола им невесело... Помню, мне повестка в армию пришла, так я прыгал от счастья. Какая девка пойдет с тобой гулять, если ты не отслужил? А теперь? Он помолчал.

– Вот скажи, Дзержинский, – напротив музыканта сидел благостный дедушка с бородкой и усами а-ля Феликс. – У тебя какая песня любимая?

«Дзержинский» деликатно, смущенно улыбнулся.

– Ну какая? – настаивал вожак. – Мы сыграем.

– Раскинулось море широко, – пропищал старичок.

– Петя... – кивнул старший напарнику.

Они, конечно, были в ударе в тот день – море плескалось рядом, совсем рядом, оно раскинулось так широко, что было непонятно: при чем тут убогая электричка, убогий пейзаж за окном и убогая, нищая жизнь!

Баяны слаженно стихли. «Дзержинский», низко нагнувшись, стал рыться в дорожной сумке. Вынул несколько последних красненьких яблочек, протянул старшему.

– Да брось, дед, – вожак смутился.

– Бери-бери, я от сердца...

Старший встал, засунул яблоки в карман пиджака. Был он красив последней звериной силой, был осанист, росл, и тяжелый баян держал привычно и бережно – как ребенка. Он прощально окинул взглядом свое старое войско и не удержался от вздоха:

– Эх, жиды, жиды! Какую страну погубили! Пошли, Петро, вон электричка...

... И, подсутившись, они успевают впрыгнуть в такую же расхристанную, бедняцкую электричку, увозящую народ от Москвы...

### III

*Все виды журавлей стали редкими. С каждым годом их становится все меньше.*

**Из словаря**

В ноябре, перед каникулами, Ивана Николаевича Кузина пригласили в подшефную школу на праздник. Вместе с товарищами. Их, ветеранов, всего ничего осталось: он, да Дьяков, да Федченко, да Врунов. Врунов, правда, не пошел – прибалывал. И он бы, Иван Николаевич, дома остался, но случай был очень подходящим. Вот и поковылял. Потому что до другого удобного случая Кузин мог и не дотянуть. Он это чувствовал.

Федченко, правда, молодец – держался. Но он и моложе Ивана Николаевича, и служил в артиллерии (а Кузин – в пехоте), и войну закончил полковником. Федченко пришел при параде, в кителе, со всеми орденами и медалями и спину по военной привычке пытался не горбить. А Иван Николаевич пришел совсем без наград, в костюме, и в коричневой рубашке – пуговицы под горло. Он сильно похудел за последние месяцы, и гимнастерка с орденами и медалями, которую он надевал на День Победы или на ветеранские встречи, висела на нем колом. У него было много наград, и он взялся было перенести их на пиджак, но потом бросил – устал.

И вот этот праздник. Школа была знакомой: директор их время от времени приглашал, он любил «акции». А почему собрал – мальчишек сегодня, первоклассников, посвящали в

«Богатыри Земли российской». Дети, в синих пилотках, одинаковых пиджачках, выстроились в две шеренги. Самый, видимо, бойкий из них, докладывал Федченко:

– Товарищ гвардии полковник! Эскадрилья первого «А» для принятия торжественной присяги построена. Командир Игнатов Вова.

Федченко командовал:

– Вольно...

Иван Николаевич глядел на мальчишек, и они умиляли его чистыми личиками, тонкими ручками и ножками, малым своим ростом – жизнь их была в самом начале... Несколько «богатырей», правда, было в очках, несколько – сутулых, почти горбатых, один жалко тянул ногу, как птица тянет раненое крыло, но Иван Николаевич этого не примечал. Хоть решение и было им принято уже давно, и было оно единственно верным, все ж теперь, когда нужно было о нем сказать всем, он погрузился в горести. Жизнь прошла... Невидящими глазами смотрел он, как дети присягали красному, израненному знамени его дивизии, как поздравляли их Федченко, родители, директор школы и Дьяков. Другое он хотел увидеть, но воспоминания почему-то не шли. Память не вызывала прошлое. Как будто его и не было. И тогда он встал.

– Дети, а сейчас с вами будет говорить гвардии сержант Иван Николаевич Кузин, – представил его директор.

Он, не помня как, оказался у микрофона.

– Я... – Голос его завибрировал, – я в ваш праздник хочу вам подарить... – он добрел до стены, взял со стула аккордеон, и, шатаясь под тяжестью инструмента, вернулся к микрофону, – вот... Играйте. Пусть будет память, – и он протянул аккордеон в зал, резко, как будто желая его навсегда от себя оттолкнуть.

Директор ловко подхватил инструмент. Собравшиеся нерешительно захлопали.

– Пусть сыграет, – вдруг услышал он голос Дьякова. – В последний раз.

Он заметался, затоптался. Тотчас услужливо подставили стул. Иван Николаевич как-то сел, влез в ремни, склонился над пожелтевшими клавишами. И с первых аккордов, с первой музыкальной фразы, все вдруг вернулось к нему – и юность, и война, и гибель товарищей, и любовь, и свадьба, вся-вся его многотрудная жизнь! И тяжесть этого возвращения была для него почти невыносимым грузом, и он смолк. И, с колотящимся в горле сердцем, под аплодисменты, которых он не слышал, Иван Николаевич побрел к своему месту.

... Из школы он вышел налегке, и просто ему было, и совсем не больно. Рано темнеет в ноябре, и освещение на улицах – плохонькое. Но Иван Николаевич не успел подумать о Чубайсе, о РАО ЕЭС, или еще о каком проклятом реформаторе. Все повседневное, суетное, обыденное вдруг покинуло его. Он даже забыл о своем болящем, немоющем теле, которое все неохотнее служило ему, и не проходило и дня, чтобы оно не забастовало, не заныло, не закачало... Ему почудился мягкий, тревожный, курлыкающий звук. Он вслушивался и слышал – летели и звали журавли. Это было так удивительно, что они не миновали Москвы, прилетели сюда в ноябре и во всем огромном городе нашли именно его, Ивана Николаевича. Белые, нежные птицы, так любившие кружить над его родной деревней с ласковым именем – Глыбочка. Слезы легко вытекли из его глаз. Журавли, журавли! Иван Николаевич знал, что он вернулся в детство, снова стал маленьким мальчиком, но только теперь у него не будет никакого взросления, будущего. У него ничего больше не будет! Журавли прощались с Родиной. И он тоже прощался, и ему казалось, что вот только сейчас, в эти последние минуты, он, всю жизнь наигрывавший на аккордеоне чужие вальсы, песни и пьесы, сочинил что-то свое, никем не сказанное, вечное. И он плакал не потому, что боялся умирать. Он плакал потому, что ему было жаль журавлей, Родину, жизнь, жаль мелодичной красоты, которая навсегда уходила вместе с ним...

## Михаил Волостнов



**ВОЛОСТНОВ** Михаил Николаевич (1955–2001) родился в русской деревне Степановка в Татарстане. После окончания школы и училища работал на часовом заводе в Чистополе, на КАМАЗе в Набережных Челнах – радиоинженером. Закончил ВЛК Литературного института. В 1996 году за роман «Несусветное в Поганочках» был удостоен Международной литературной премии «Москва-Пенне» в номинации «Новое имя в литературе». Тогда же был принят в Союз писателей России. Сам он определил свой жанр как «философию русского фольклора», оставаясь верным ему и в последней повести «Авгень в Марешках», вышедшей в свет в пятом номере «Роман-журнала. XXI век» за 2001 г. Это была его последняя прижизненная публикация.

Рассказы Михаила Волостнова публиковались в «Роман-газете», «Литературной России», журналах «Москва», «Наш современник», в газете «Российский литератор».

## «И ТУТ ОСТАВАЙСЯ, И С НАМИ ПОЙДЕМ...»

Чего только не навалено в закутке русской деревенской печки: полено дров обязательно, клок шерсти, варежка, валенок, гусяное крыло и огарок свечи, денцо и прялка, заячья лапка и глиняный горшок, лукошко... Вот в нем-то, продолговатом уютном липовом лукошке, как раз и любит отдыхать-почивать сам Ефрем Ефремыч. Никто в доме, конечно, никогда его не видел, но все почему-то знали, что все равно где-то тут Ефремка обитает. И общались с ним запросто. Хозяин дома, например, Мирон Николаич, залезая на печь зимой погреться, говорил с усмешкой:

– Ну, Ефремыч, подвинься маненько да поперек ляг, а то ступай-ка вниз на загнетку, а я тут бока-то погрею. Озяб шибко, зима ой-ей-ей нынче холодна...

Если забирались на печку дети покувыркаться на теплых камнях да валенками друг в друга покидаться, то они обычно с хохотом и детским суеверием приговаривали:

– Домовой-домовой, ну-ка, с печки долой!

Хозяйка, подымаясь сюда же, всегда не забывала перекреститься и сказать:

– Крещеный на печь, некрещеный под печь...

Самый младший в семье, Николка, любил с домовым в войну играть. Заберется на печь, из валенок баррикады настроит, сковородником будто из винтовки палит, лучиной, как саблей, машет.

– Ур-ра! – кричит. – Ханде хох, супостаты!

(Тут уж, Ефрем, не зевай, знай только успевай поворачиваться, а то зафугует валенком прямо по голове озорник Николка или ненароком лучиной глаз выколет.)

Не обижался Ефрем ни на кого. Когда надо, хозяину печь уступал, от хозяйки под печь прятался, а от детишек и тумачи, бывало, порой сносил: что с них взять! Если только башмак какой спрятать куда-нибудь под лавку, чтоб не очень озорничали. Они, бывало, смешно искать возмутся, поверху глазами рыскают, а вниз поглядеть ума у них нету. Ищут, с ног собьются, заговаривать начнут:

– Ефрем, Ефрем! Тьфу-тьфу, поиграй да отдай!..

Теперь давно уже в этом доме не слышать было детского смеха. Минуло столько лет, что самый младший Николка стал солидным и лысоватым ученым-физиком Николаем Миронычем. Отец гордился им и часто хвастался перед соседями:

– Николка мой электричество назубок знает, где в каком проводке какой ток течет. Наука!..

Сам Николай лет пятнадцать, может, назад, когда еще не был ученым, а всего лишь учился в университете, тоже любил, приезжая на каникулы, прихвастнуть перед соседями своей ученостью.

– У нас так говорят, – мог ошарашить, например, соседей, починяя им электропроводку, – не зная закона Ома, не высовывай носа из дома!..

– О-о! Гли-ка, как, – с уважением внимали соседи ученым речам.

Но могли и свой совет дать:

– Тут электрик у нас один шальной был, без бутылки ничего, враг, не делал. Его так и звали Тарзан. Он, бывало, все говорил: «Родную мать называй на „ты“, а электричество на „вы“! Дак шибануло его один раз током так, что почернел аж, бедный. Так потом и ходил всю жизнь, ровно смоляной какой...»

То ли вняв этим советам, то ли просто от врожденных качеств, все более взрослея, Николай потихоньку изживал в себе не только дурную привычку хвалиться, но и вообще слишком много разговаривать с людьми, отчего некоторые знакомые его прямо пророчили ему мрачное будущее нелюдимого одиночки.



– Смотри, – предупреждали они, – гордыня твоя тебя же и доконает...

Приехал Николай погостить в деревню зимой. В чемодане у него было много гостинцев для стариков-родителей, в том числе бутылка коньяка для отца, две-три пары сменного белья, зубная паста, щетка и мыло. Так что все содержимое чемодана быстро распределилось в ящики комода и на полки в кухонном шкафу. К невеликому несчастью Мирона Николаевича, коньяк оказался не очень добрым, через плохо закупоренную пробку небольшое количество его вытекло, надушив внутри чемодана пряностями хмеля. Просушить чемодан мать засунула за печь, оставив полуоткрытым. Этого только и надо было Ефрему Ефремычу. Он тут же оставил лукошко и, кряхтя и принимаясь к ароматам, перебрался на новое место жительства. Тут ему было и просторно, и хорошо, и, впрочем, любопытно: вся крышка чемодана оказалась испещрена формулами, графиками, крестиками, квадратиками и кружочками. Ефрем увлекся, водил волосатым кривым пальцем по письменам, шевелил губами, пытаясь на свой домовый лад определить значение той или иной закорючки, как незаметно и уснул крепко-крепко...

Мирон Николаевич, восьмидесятилетний старик, хоть и был уже слаб – одышка, и сердце заходило, и кровь не грела, – но выпить чуточку любил и нрав имел своеобразный. И если в зрелые годы, например, мог в запале рвануть на груди рубаху, громыхнуть по столу кулаком и проскрежетать зубами: – «Кругом гады!..» – то теперь его хватало разве что помахать сухоньким кулаком в воздухе и тоненько воскликнуть: – «И-и-эх вы!..»

Остальные братья и сестры Николая жили кто где, по разным большим и малым городам. По возможности вот так же, как и Николай в этот раз, навещали стариков, привозили гостинцев, внуков и даже правнуков. Шумно тогда бывало в доме и канительно. Вдобавок еще дед, выпив лишнего рюмку-две, начинал придирается к сыновьям, что живут неправильно:

– И страну проворонили! И детей распустили! Думаете, это хорошее дело – ребятишек распутству учить, голые зады им показывать?! И-и-эх вы!..

– У нас, отец, демократия. Мы-то что можем поделать, головы повыше нас есть.

– «Повы-ыше»... Растили вас, растили...

– Да что ты, папа, кричишь, – вступались за мужей жены. – Они работают, как учили вы их, не воруют, не выскочки, не лентяи. А им за это по году зарплату не платят. Мы не то что концы с концами порой свести не можем – у нас нет их, ни концов, ни начал. Мы сами не знаем – завтра живы будем, – не знаем нет. Вон ребятишек вырастили, молодые, пусть сами теперь как хотят крутятся. Вы нам тоже так говорили, мол, вырастете, сами все и заработаете...

– И-и-эх вы!.. – только и мог на это отвечать отец.

Хотя Николай и ученый и отец гордился им, но и его поругать-поучить находил причины.

– Вы вот люди-то грамотные, а жить все равно не умеете. Ты посмотри-ка, сколь машин, телевизоров, химикатов всяких напридумывали. А они что, кормят нас?

– Ну есть и такие машины, которые кормят.

– Больно мало. Не делаете вы таких машин. Все природу подчиняете. А она вот кукиш вам с маслом показывает.

Сын знал, что возражать бесполезно, но и промолчать нельзя: в пустоту отец говорить не любит, ждет, что ему ответят.

– Подчинять ее, положим, никто не собирается, а вот усмирять ее стихии научиться неплохо бы. Сейчас метеопрогнозы...

– «Поло-ожим»... «метеопрогно-озы»... И-и-эх вы! Разорять – вот это вы можете, вред всякий наносить. От вас беды токо и жди: что ни день, то крушение, то пожар, то война... У меня вон за печкой домовая, Ефрем, сто годов как живет. Я ни разу его не видел, и мне этого не надо... а я знаю, что без него дом наш давно бы развалился.

– Ну а мы, ученые, тут при чем?

– А при том! Вы бы давно Ефрема этого сетями изловили и в музей выставили, как лапти щас модно выставлять да лутошки всякие.

– Ну и жалко, что ли? Да и нет их, никаких домовых, наука давно бы доказала...

А Ефрем тем временем спал себе беспробудно вторые сутки. Сны ему снились. Луга, обильно заросшие коневником, ромашкой, зверобоем, лопухами и прочим благоухающим разнотравьем. Где-то ржут кони. Ефрем босоногим мальчишкой бежит, бежит навстречу отцу. Отца он не видит, а видит только яркий и очень теплый и будто на ощупь мягкий свет солнца...

В этом состоянии и увез его в чемодане скоро собравшийся в обратную дорогу Николай Мироныч. Обескураженные столь быстрым отъездом сына старики упрашивали его побыть еще хотя бы денек.

– Я бы пирожков напекла тебе в дорожку, – всматривалась ему в лицо мать.

– Да ты и так напекла вон сколько, мама!..

– А то бы горяченьких-то...

– И эти еще теплые, вкусные...

Отец опускал глаза, высказывая свое:

– Может, я же лишнее сказал, ты уж не сердчай. На отца обижаться нельзя. Когда теперь приедешь-то? Помру, дак хоронить смотри приезжайте, одной старухе тяжело будет...

– Да живи ты еще, пап...

– Нет уж, видно, хватит, пожил... И то ты уж вон, а тоже седой стаешь.

Мать на этот случай не забывает свой уже давний наказ:

– Давай ищи себе пару, хватит одному-то гулять...

Ефрем Ефремыч перед пробуждением – уже в городе, в однокомнатной квартире Николая Мироныча – особенно ярко витал во снах. То они всей семьей строили дом: он, мальчишкой, бегает за всеми, старается помочь, его шпыняют, но он все равно вертится, подсобляет таскать бревна, хворост, солому. А вот они уже все вместе зовут давно умершего их дедушку поселиться первым в новом доме: «Дедушка Сири́н, просим тебя! И тут оставайся, и с нами пойдем. Будь в нашем доме набо́льшим...» А потом пожар. Весь дом внезапно объяло пламенем, и все вроде бы успели из дома выскочить, только дедушка Сири́н остался... От пламени было жарко и душно...

С этим сном и проснулся Ефрем Ефремыч и сразу обнаружил себя не дома. Заметался было, да куда там. Темно, закрыто наглухо. «Это меня Николка в чемодане, зная, увез в окаянный город, – потыкавшись по углам, смекнул наконец Ефрем Ефремыч. – Вот попал дак попал... Нет ли где какой щелочки?...» И он начал ощупывать чемодан изнутри, постукивать, царапать...

Странные эти звуки и привлекли внимание Николая Мироныча. Уже чувствуя какую-то их необычайность, он извлек чемодан из шифоньера. На какое-то время все затихло. Открывать крышку Николай Мироныч не спешил, наоборот – придавил ее ладонью и, затаив дыхание, наклонился поближе. И вот не прошло, наверное, и минуты, как вдруг явно и громко изнутри постучали. Николай Мироныч вздрогнул, рванулся было открыть чемодан, но вместо этого еще сильнее надавил обеими руками на крышку.

– Кто там? – отрывисто, будто в пустоту спросил. Постучал пальцем по крышке.

– Эй...

И чего никак не ожидал – это ответа. Там сначала покашляли, а потом внятным, но тихим, приглушенным голосом отозвались:

– Это я, Николка, домовый. Выпусти меня... Да ты не бойся, меня и не увидишь!

– Какой домовый? – ничего пока не понимая, спросил Николай у чемодана.

– Да Ефрем я, Ефрем... Старый, добрый, за печкой у вас жил, пока ты меня не увез. Душно мне тут, выпусти меня, сынок...

– Как вы в чемодане-то остались? Я же все вещи, как приехал, выложил.

– А шут знает... спал я... да ты меня все равно бы не заметил.

Николай Мироныч отличался самообладанием при любых обстоятельствах. И сейчас хоть и почувствовал по всему телу холодок испуга, но не растерялся. Выдержал почти минутную паузу, потом все еще будто в пустоту сказал:

– Не лгите там. Домовых не бывает. Я, как ученый-физик, хорошо это знаю.

– Как не бывает? – удивленно откликнулись из чемодана. – А я кто же?

– Это еще надо проверить.

– Чего проверять, Колька! Ефрем я. Ты что, забыл, как в войну со мной играл? Ты мне валенком раз так втемяшил под глаз, что я потом неделю под печкой отлеживался. А говоришь, не бывает. Открой, Николай, домой мне пора.

– Ладно, – согласился наконец Николай Мироныч, – я вас выпущу, но чуть позже. Мне надо обмозговать ситуацию.

– Ох, скорей мозгуи, – почти простонал Ефрем в чемодане.

Через полчаса Николай опять постучал пальцем по крышке:

– Эй... мне надо показать вас науке.

– Какой науке, обалдуй! – взвизгнул Ефрем. – Меня нельзя видеть. А кто увидит, тому будет несчастье. И дом нельзя надолго оставлять без меня: сгореть может или хозяин помрет. Опомнись, Колька!

Но Николай Мироныч не опомнился, а, напротив, с каким-то озорством увлекся неожиданной идеей окольцевания домового – например, радиоошейником, тогда им можно будет управлять с помощью радиопередатчика и к тому же, не видя самого домового, легко определять, где он находится в данный момент. В принципе Ефрема можно и увидеть в проекции каких-нибудь инфракрасных излучений. В институте у них академики такие доки, что быстренько придумают и состряпают какую хочешь машину и заставят обнажить себя хоть самого черта.

Ближе к полуночи, когда идея приобрела какую-то форменную мысль, Николай Мироныч тихонько постучался к домовому:

– Ефрем, вы все еще тут?

– Да тут я, тут! – сразу же откликнулся домовый. – Все твои каракули про омы и вольты изучил, грамотей несчастный. Выпускай меня, беда а то будет, право, Коля.

– Скажите, Ефрем, а сквозь стены вы разве не проходите?

– Дурак ты, дурак, даром что ученый. Я могу и дом твой разрушить, и тебя извести.

– А вы можете обещать мне завтра на ученом совете сидеть тихо, интеллигентно, академиков не щекотать, кафедру не громить и меня не изводить?

– Тебя и изводить-то не нужно, ты сам себе навредишь своей затеей.

– А я в свою очередь клянусь вам, как только закончится эксперимент, без задержек отпустить вас хоть домой, хоть на все четыре стороны.

– Не клянись, неразумный...

– Хорошо, не буду. Так вы не подведете меня завтра?

– Не подведу...

Старый уж домовый, тихий, ему и места много не надо, тепло чтобы только было, а сон его где хочешь одолеет, тем более сны видеть для Ефрема самое милое дело. А сны у него – это не просто фантазии отдыхающей души, но чаще воспоминания далеких-предалеких, почти изначальных и самых ярких моментов своего бытия.

Вот и в эту ночь он словно ушел из темного, душного чемодана в светлый, весенний давно уже минувший, но будто вновь наступивший день. Солнце играло свой праздник, и люди, радуясь его ясному свету, вышли на поляны, пели песни, плясали и кувыркалились, громкими веселыми криками славя яркое сияние Ярилы. На потеху праздника кто-то привел из лесу на цепи с колокольчиком на шее медвежонка. Заставляли его кувыркаться, плясать, и он притопывал задними лапами, передними прихлопывал, ревел и кружился, а колокольчик на шее в

такт ему все бренчал и бренчал, словно хохоча над его неразумностью. А потом люди угомонились и спали, а Ефрем, лет семи мальчишка, пробрался в клеть к медвежонку, отцепил его, выпустил, но никак не мог отстегнуть ошейник. И все бежал за медвежонком до леса, с удивлением глядя, как тот кувыркаясь и царапая лапами шею, все пытался сдернуть с себя этот назойливый хохот. А к вечеру хмурый хозяин опять взял цепь и пошел в лес искать беглеца. Вслед ему Ефрем показал кукиш...

Утром домового в чемодане Николай Мироныч принес в институт, чем взбаламутил все его население, начиная с лаборанток и кончая уважаемыми академиками. Все в один голос говорили о кознях нечистой силы и баловстве полтергейста, но в демонстрационный зал допущены были не все, а только самые именитые; остальным же не возбранялось толпиться у закрытых дверей и пытаться подглядеть невиданный доселе эксперимент хотя бы через замочную скважину.

На кафедре, повыше, чтоб повидней, блеском тугоплавкого стекла красовалась барокамера – непонятно, то ли от нее, то ли к ней тянулись кишки шлангов и разноцветных кабелей; вычислительные машины урчали, мигали, пытели и только что не подпрыгивали. Публика в зале сразу и безошибочно определила, что в фантастическую барокамеру сейчас будет помещен субъект, некто домовый по кличке Ефрем, а говоря современным научным языком, – полтергейст, и над ним произведут некоторые познавательные опыты, в том числе и облучения. А потом, расписывая по всей площади аспидной доски головокругительные уравнения, можно будет и подискуссировать, гуманно это или не очень... Может быть, так и случилось бы – страшно интересно и научно. Да вот беда – в последний момент, когда уже вошли в зал представители специальной ученой коллегии, внесли старенький, помятый, со студенческих еще времен чемодан Николая Мироныча и, тая на ученых лицах усмешку, положили этот чемодан на стол, то через несколько уже секунд в одном из разъемов вычислительной машины раздался треск и вспыхнула кратковременная шаровая молния. В ту же сесекунду в зале погас свет, так что окончательный разрыв молнии виден и слышен был в кромешной темноте, отчего в зале поднялась суматоха. Однако не прошло и пяти минут, как свет был включен и порядок восстановлен. Но зато, ко всеобщему удивлению и разочарованию, на столе лежал у всех на виду открытый и совершенно пустой чемодан...

Через два дня Николай Мироныч получил после обеда известие о смерти отца.

За день до смерти с утра Мирон Николаевич хоть и чувствовал себя неважно, но все-таки нашел в себе силы надеть валенки, фуфайку и выйти во двор. В сарае у него висела на вбитом в стену штыре сбруя, которой он в свое время очень гордился и берег. Сейчас ему почему-то подумалось, что без присмотра она, наверно, гниет или трескается. Хомут был еще добрый. Мирон Николаевич снял его, хотел осмотреть поближе, как вдруг через него увидел в дверях маленького, не больше трехлетнего ребенка, старичка, заросшего с ног до головы седыми лохмами. Мирон сразу догадался, это и есть тот самый домовый, суседко, хозяин двора, которого как раз и можно-то, говорили еще прежде старики, увидеть только через хомут.

– Чего ж ты так задохнулся-то? – спросил его Мирон.

– От Кольки твоего бегством спасался, – как-то повизгивая, ответил Ефрем. – Шутка сказать, столько верст отмахал, где бегом, где летом – тебя вот живым застать хотел.

– Ну и как там, в городе?

– Лучше некуда, в чемодане сидел, взаперти, как в каталажке.

Мирон хмыкнул:

– Там так, закроют и не вылезешь.

– Вылез... Мы тоже не лыком шиты. Я им там такой закон Ома в розетку воткнул, враз у всех в глазах потемнело. А то они шутки со мной шутить вздумали.

– Ты на Николая-то шибко не сердчай, – попросил Мирон домового. – Он ума еще наберется.

- Ясное дело, люди-то свои... Хотя поучить маленько бы надо.
- Надо, – согласился МIRON. – А я ведь помру, чай, сегодня, Ефрем. Мне что-то плохо.
- Помрешь, МIRON, аккурат ночью. Мало больно живете-то вы нонче.
- Где ж мало, года все-таки...
- В это время в сарай вошла старуха МIRONа.
- Ты с кем это говоришь, дед? – удивилась она. – Хомут-то нашто взял?...
- А ну тебя! – Старик плюнул, повесил хомут на место и тихонько поплелся в дом.
- Из ума, стало быть, выжил, – шла за ним, приговаривая, старуха.
- Ну, мать, готовься, – остановившись, признался ей старик. – Эту ночь я помру.
- Будет болтать-то...

Этот разговор она в точности и по несколько раз будет пересказывать детям после похорон отца. Приехали они все, хоть и трудно зимой добираться, а добрались. Похоронили отца как положено, по-христиански, и поминки справили добрые, всех деревенских накормили: пусть поминают МIRONа Николаевича, мужика деревенского, фронтовика бывшего, инвалида, добрым словом.

Смерть отца очень сильно потрясла Николая. Все время пребывания дома оставался он молчаливым, несколько раз ходил один на могилу и подолгу о чем-то там думал, и все не покидало его какое-то чувство вины.

– Ты что, Николай, так переживаешь-то, – говорили ему братья и сестра. – Не больно ведь он молодой был. Нам бы, дай Бог, дожить до этих лет. Мать вот жалко, одна останется тут зимовать, трудно будет.

– На зиму надо ее к себе в город забрать, – сказала сестра. – На сороковой день вот приедем и заберем...

В институте Николай МIRONыч попал под сокращение. Скорее всего, это сработал тот конфуз с домовым. Но худа без добра не бывает. Едва он вернулся домой с похорон и остался, так сказать, безработным, как тут же получил заказ от одного очень богатого дядьки придумать и изготовить многооперационный электронный комбайн по выполнению кухонных и прочих домашних работ. С виду это должен быть самый настоящий робот с руками, ногами, головой, умеющий говорить и петь. Хозяйке, которой богатый дядька желал подарить этого робота, останется только нежиться, лежа в постели целыми днями, и нажимать холеными пальчиками кнопки на пульте управления. И робот исполнит любой ее каприз: хочешь – подаст кофе в постель, хочешь – споет любимую песенку из шлягерного репертуара. Николай МIRONыч сразу же увлекся этой конструкцией. В случае успеха ему обещан был щедрый гонорар. А пока, в счет аванса, заказчик разрешил взять из собственного арсенала машину с шофером и съездить в деревню на сороковой день и перевезти мать.

Собирая мать на новое место жительства, из дома много вещей не забирали в надежде весной сюда возвратиться. Однако все равно, когда присели на дорожку и оглянулись, в избе чувствовалась какая-то пустота, и еще не было холодно, но печка уже остывала. Когда стали выходить, мать перекрестилась и заплакала, сказала, что, наверно, умирать туда едет только, так бы тут и оставаться надо было.

- Вот еще, – возразила ей дочь. – Люди скажут, оставил и мать тут одну.
- А что, – пошутила мать, – снегом задуло бы, никто б и не увидел.
- Да, весной оттаяла бы, – поддакнула ей дочь.

Во дворе, прежде чем сесть в машину, мать еще раз перекрестилась, хотела садиться и вдруг, будто вспомнив что-то, оглянулась и сказала:

- Ну, Ефрем, и тут оставайся, и с нами айда...

А Ефрем сидел на крыльце и, грустно качая головой, глядел, как отворяют ворота. Потом вдруг встал и побежал в сарай.

– Эх, сбрую-то он берег-берег, – проворчал, уцепился за конец вожжей и потянул на себя. – Надо в дом унести, а то разворуют. Ну-ка, а ты беги скорее за ними, куды тут один останешься, пропадешь, – затопал он ногами на игравшего соломой дымчатого котенка.

Котенок фыркнул и пулей выскочил из сарая – шерсть дыбом, глаза круглые – в подворотню и напрямик к машине.

– Ба! Котенка-то чуть не забыли, – увидела его из машины хозяйка. Остановились. Николай вылез и поймал бедолагу, сел, держа его на руках, поглаживая мягкую шерстку.

– У нас же вроде не было такого никогда?...

– Откуда-то приبلудился, три дня как мяучит, ну я его впустила в дом, жалко.

– Я его к себе возьму, пусть у меня поживет до весны.

– Возьми, хочешь, дак он ласковый, всю ночь урчит под боком...

Деревня кончилась, началась дорога полем, дальше виднелся лес. Чуть-чуть задувало, и на дороге были небольшие переметы.

– Зимой заметает тут, наверно? – поинтересовался шофер.

– У-у! Целиком. Тракторами гребут-гребут день-то, а за ночь опять все вровень задует. Снегу тут много бывает.

Шофер слушал, молчал и вдруг поймал себя на мысли, что здесь становишься сентиментальнее, добрее, что ли...

## БАЙНИК ДА БАННИХА

Один сельский богатей Филиппс Пантелейкин построил на берегу собственного болота сауну на финский лад. Написал над дверью «*manus manum lavat*» (рука руку моет), но банного Байника не пригласил на жительство, не задобрил – ни хлеба ему не принес, ни соли и черного вороненка под порогом не захоронил. А Байник не гордый, без приглашения, сам вселился, устроился под скамейкой и знай себе поживает, в холода на каменке греется, в жару в бассейне купается, да помаленьку за обиду свою вредит хозяину. То веники растреплет по полу, то каменку разберет, а то мыло или мочалку возьмет да запрячет куда-нибудь подальше. Сам Байник росточку невысокого, но большеголовый, большеглазый и весь волосатый, как шерстяник. Хотя Филиппс в таком обличии ни разу не видел его, и никак не видел, но начал подозревать, что кто-то в его личной сауне хозяйничает.

Жила неподалеку от Филиппса Ксения. Молодая, пригожая, но вдова уже, что по нынешним временам и не удивительно. Жила Ксения с дочкой маленькой, в маленьком бревенчатом доме, и с краю небольшого огорода была у Ксении малюсенькая, без трубы, банька. И как положено, по-христиански, жила в этой баньке по-доброму банная матушка Банниха, или как еще в народе ее называют – Обдериха. В годах уже была, вся лысая, худая, долговязая, зубы торчат, на животе и на заднице складки чуть не до полу свисают. Вреда хозяйке своей не делала, наоборот – то паутину с углов смахнет старым веником, то оконце протрет, чтоб хоть чуть-чуть посветлее было в баньке по-черному. Ксения замечала, конечно же, что тут хозяйка завелась, и не гнала ее, а, уходя, обычно приговаривала: «Банниха, Банниха, не серчай на меня, вот тебе мыло, вот тебе веничек мягонький, мойся чистехонько, да береги баньку от огня и от сырости...»

Байник не любил шлаться куда-нибудь без дела, все больше в сауне своей на лавке дремал или сверчков да пауков ловил от безделья, в тазу топил, но не до смерти, потому что живность всякую любил и любил разговаривать с нею:

– Кто ты такой, скажи мне? Таракашка ты и есть неразумная. Хочу утоплю тебя, хочу вытащу и выпью с тобой коньяку рюмочку, хоть за приезд, – и выуживал приплывшего к краю таза паука.

Коньяк у Байника всегда водился. Пантелейкин никогда не приходил париться без бутылочки и без какой-нибудь тетки. Срамота. Коньяк недопитый обычно оставляли на подоконнике, среди бутылок из-под шампуня. И Байник его обязательно прибирал. Коньяк Баннику нравился очень, тем, может быть, пока еще и спасался Пантелейкин от смертельных злыдней. За обиду свою незабываемую Байник и задушить запросто мог, хоть угаром, хоть шапкой, что хозяин, когда парится, на уши натягивает.

И вот вынужден был Байник пойти в гости к Баннихе.

– Здорово живешь, Обдериха?...

– Не жалуюсь, вода в кадushке всегда свежая...

– Да... А бедновато у тебя.

– Хоромов, как некоторые баре не имеем, а и на том спасибо, крыша над головой есть.

Сказывай, кыль, чего надо?...

– Хозяйка у тебя, говорю, больно хорошенькая.

– Хорошенькая, пригоженькая, да не вами ухоженная... не баней ли со мной поменаться хочешь, пес лохматый?... Не уступлю и не проси даже. Хозяйка моя приветливая, говорунья, с такой и жить мило дело.

– Вот и я про то, что говорунья да приветливая. За водой-то она мимо моего окна ходит, бывает, и с хозяином моим сталкивается.

– Ну-ну, и чего?...

– Тут как-то он ей говорит: «У меня домовой, что ли, в сауне завелся. Весь коньяк мой выпивает, веники треплет, мыло замыливает... Может, зайдешь ко мне попариться?... Вдвоем-то быстро изгоним нахлебника».

Тут Обдериha захихикала, зашлась мелким кашлем:

– А ведь выгонят они тебя, волосатика, как есть выпарят. Хозяйка моя слово как к нам, так и против нас знает.

– Вот то-то и оно. Париться она в тот раз не согласилась, а посоветовала дурню: «Ты как войдешь, первым делом скажи – крещеный на полок, некрещеный с полка!» Он и сказал другой раз так, а я с полка и брякнулся. До сих пор бок болит. Тебе сейчас смешно, а я тогда хохотал над ним, бестолочем. Он и сам-то ведь некрещеный. Ну и как полез на полок, так и хлопнулся на пол – то ли у него нога подвернулась, то ли коньяку лишнего хватанул. А ты коньяк-то не употреблять?... Я принесу, если что...

– Ты издалека-то не подъезжай, говори прямо, не гундось тут лишнего, не сватать, поди, пришел...

– Кого?! Тебя?! Обдериxu?!

– Не знаю, меня ли, хозяйку ли мою, но уж больно масляно мажешь, как бы не поскользнулся.

– Во-во! Без дальнего тут никак нельзя. Хозяйку твою как раз и могут просватать. Он вчера опять ее подкараулил, облапал и чуть не силком париться тащил, хоть и сауна-то не протоплена была. Насилу вырвалась. Говорит: «У меня своя банька есть, а у тебя и жарко, наверно...» – «Вот и хорошо, – смеется ей, – предлог будет, скорей раздеться...»

– Да, надо что-то делать, – призадумалась Обдериha.

– Вот и я говорю. Ты посмотри-ка в кадushку с водой, может, увидишь там, чем кончится это у них.

– И смотреть не буду, так знаю – посмеется над ней, а еще кучу ребятишек наделает. Майся потом с ними. А в бане места не больно-то много... Вот я придумаю чего-нибудь. Он ведь тоже мимо нашего-то окошечка похаживает, один раз даже заглядывал – ни стыда, ни совести.

На второй день как раз Филиппс и проходил тут в новых ботинках. И надо же! Повстречался с Ксенией. Пуще прежнего хороша была бабенка. И податлива, как никогда. Только только Филиппс намекнул:

– Париться-жариться, когда будем?

– Хоть сейчас, – говорит. – У меня как раз протоплено. Каменка душистая, я на нее всяких трав наварила да набрызгала. Полок чистехонек, я его скобелечком два денечка выскабливала, вычищала – хоть животом, хоть спиной ложись, не занозишься.

– Я-я... Я готов! – одурел от счастья Филиппс Пантелейкин. – Хоть сейчас готов... Я как раз ботинки новые купил... – подхватил на руки Ксению и скорехонько в баню. Не рассчитал, в дверях лбом стукнулся, да разве до этого сейчас, когда дело такое выходит.

– Она у тебя холодная, что ли, – озирался Филиппс по сторонам, боясь в полумраке запачкаться обо что-нибудь или затылком об потолок стукнуться.

– Да где же холодная?! – запричитала Ксения. – Самый жар. Раздевайся да на полок-то залезай. Уж я тебя попарю!

– Вообще-то, ничего, вроде жарко... А тут под лавкой собака, что ли, растянулась?...

– Собака прижилась, греется маленько. Да он нам не помешает, пусть лежит себе.

Филиппс торопливо скинул с себя одежду, побросал у порога. Полез на полок. Опять передернулся от холода.

– Ты сама тоже раздевайся давай, да залезай ко мне, а то чего-то холодно стало. Поддай-ка жару...

– Сейчас-сейчас...



И давай-ка тут Обдериха парить Филиппса Пантелейкина, охаживать его вениками, то крапивным, то боярышниковым. Как хлестнет, так у мужика аж полосы кровавые проступают. Не сразу и смекнул, что это и не Ксения вовсе заманила его в баньку. Когда ожгла по первой крапивой, ему показалось, это жар от каменки огнем на него пыхнул. Заорал, хотел соскочить с полка, да не тут-то было, как цепями прикованный оказался.

Глядит, а его не Ксения расхорошенькая веничком березовым поглаживает, а страшная-престрашная старушенция, хлещет, что есть мочи, крапивой да колючками, визжит, да покрикивает:

– Ну и парок! Ну и дух! Ай да банька моя! Ай да молодец в ней парится, на полке лежит, никак слезать не хочет!..

А Байник вылез из-под лавки, оборотился из собаки в свой собственный вид, пьет коньяк прямо из горлышка и спьяну кричит, подзуживает:

– Кончай его, Обдериха! Дери его до смерти!

Волчком крутится на полке Филиппс, ужом извивается, дуром орет, а прыгнуть да убежать никак не может. Так и запарили бы его банные до смерти, но тут дверь сама собой растворилась, от воздуха спертого, видимо. Нечистые и попрятались с перепугу – Обдериха под полок забила, а Байник в куренка ошипанного оборотился и шмыг на улицу, да скорехонько к своей сауне, знай только крылышками-костышками помахивает.

Сполз кое-как Филиппс на пол, штаны натянул да через порог на карачках перекувыркнулся и тихохонько, тихохонько по картошке к пряслу, а там в овражек поковылял. Так и сгинул бы навечно где-нибудь в овраге том в лопухах, если бы не Ксения. Хватила она чего-то в баню пойти. Что такое?! Дверь настежь, по всему полу крапива накинута, боярышнику кусты наломаны. «Кто-нибудь озорничать заходил, – подумала. Взялась за веник, выметать, глядит – ботинки у порога стоят, лакированные, новехонькие. – Такие только у Филиппа могут быть...» Схватила да побежала отдать, да пристыдить, чтоб по чужим баням не лазил. И нашла его в овраге, умирающего. Притащила домой, выходила, молоком отпоила.

– Ступай, – говорит, – теперь домой, коли отудобел...

А он и идти не хочет.

– Чего, – говорит, – мне одному там, в хоромах тех, делать? У тебя тут вон как хорошо, спокойно...

## КУМАЖА

Телемастер-шабашник Авдей Луковой и частный предприниматель Семен Артемич сидели за столом друг перед дружкой и угощались. Перед каждым лежало на противнях по целому зажаренному в гриле до румяна гусю. Стояли на высоких ножках фужеры с белым вином, а около них – стопочки с чистой, как слезиночка, водкой. Гусятину раздирали руками, по-русски, не признавая ножей и вилок. Пальцы с удовольствием утопали в масляной горячей мякоти, нос ловил аромат пряностей, а язык – острый вкус нежного мяса. Вино подливали и пили, когда просто хотелось пить, а водку – когда от удовольствия созрел очередной тост.

Тосты выдумывал и произносил на правах богатого и радушного хозяина Семен Артемич.

– Давай-ка выпьем за гуся... Чтоб леталось ему, жировалось на вольном хлебу, свежем воздухе...

– Не больно-то вольготно ему, наверно, тут, – указал гость кивком головы на противень.

– А я предлагаю выпить за другого гуся, который еще в стаде ходит, но скоро, думаю, попадет к нам на сковородку!

Гость согласился с тостом, чокнулись хрусталем, выпили за гуся и опять начали аппетитно есть и беседовать.

– Я, – причавкивал Семен Артемич, – всю жизнь, может, мечтал вот так вот гуся слопать целиком... но еще мечтаю о баране на вертеле.

– Меня позвать не забудь, – облизнулся Авдей.

– Позову! Я всех друзей тогда созову. Вот, скажу, братцы, дожил я наконец до счастливой жизни, порадитесь вместе со мною...

Авдей уже заметно охмелел, поднял рюмку:

– Хорошо живем...

– Хорошо, друг. У меня в одном колхозе целое стадо гусей ходит. Председатель деньгами не смог расплатиться, пришлось живыми гусями брать. Хочешь, завтра их к моему дому, к подъезду прямо, какая-нибудь деревенская босоногая Матанька пригонит хворостиной? Как в кино... Ну, давай выпьем...

Гусей съели и косточки обглодали, вином запили; потом выпили еще по стопке водки, закусили лимоном; потом пили кофе, закусывали ломтиками сыра, сытно откидываясь на спинки стульев. В довершение вечера, пришел проводить Семена Артемича личный врач-экстрасенс с острой саблей в руках. Порадовал сообщением, что отыскал в «тетрадке народной мудрости» заговор от ожирения, почти идентичный с его собственной методикой. За такое усердие врач был пожалован целым стаканом водки и какой угодно закуской, появившейся на столе из холодильника как по волшебству: хочешь – рыжики, груздочки, хочешь – балык, ветчина, заливной язык... Выпив стакан водки до дна, экстрасенс решил тут же опробовать на пациенте новый заговор.

И вот уже подвыпившая троица прыгала по кухне какими-то языческими прыжками, экстрасенс махал над головой Семена Артемича саблей, и тот исступленно вопрошал:

– Что сечешь?

– Ожирень секу! – кричал экстрасенс.

– Секи шибче! – вторил ему пациент. – Чтобы век не было!..

Возвращался Авдей домой поздно ночью, пьяный, улыбался, вспоминая, как на шум прибежала из спальни жена Семена Артемича и образумила их:

– Вы что, рехнулись?

Маленько утихомирились. Сели за стол и еще взбодрились по рюмочке водки. Семен Артемич время от времени учил Авдея жить. И в этот раз не преминул:

– Давно бы открыл свою телемастерскую и жил бы припеваючи. Золотые сами бы к тебе сыпались, только карман подставляй. Работать не нужно...

– Пока у меня голова на плечах, – улыбался Авдей, – и чемоданчик с инструментами при мне – кусок хлеба, сала и бутылку водки всегда заработаю. Живу я один, мне много не надо... У меня мой чемоданчик, как неразменный рубль.

– Врешь ты все, – посерьезнел Семен Артемич. – Человеку всегда много надо... Ну ладно, поздно уже, вставать завтра рано... Вот вам по гусю, домой гостинца, и доброй ночи...

На том и разошлись. У подъезда экстрасенс пошел в свою сторону, Авдей – в свою. Была осень, грязно, хотя небо вроде выветрилось и полная луна ясно высвечивала то и дело наплывающие на нее холодные серые облака. Мороженный гусь все хотел выскользнуть из-под мышки, но хоть и пьяный, Авдей не спускал с него глаз и поддерживал застывающей уже ладонью, пока не споткнулся и не улетел с тротуара в грязь. В первую минуту было такое ощущение, что ему подставили ножку. Но никого рядом не было. Гусь, само собой, выскользнул во время падения и шлепнулся где-то рядом. Как нарочно, большое черное облако потопило в своей тени свет луны и надвинулся мрак, казалось, надолго. Авдей пошарил вокруг себя, пытаясь нащупать холодную тушку, чертыхнулся... и вдруг его кисть зажала какая-то безжизненная, не холодная, не теплая, будто давно тут валявшаяся меховая рукавица, ладонь. Авдей глянул – кто тут!.. И словно только что проснувшись или, наоборот, крепко уснув, увидел смотрящую в упор на него огромными косыми глазами прескверную, какой ни навяу, ни во сне не придумать, харю. А за ней толпились еще и еще, такие же противные, кривляющиеся, беззвучно хохочущие рожи.

– Ты нам гусака – мы тебе серебряный рубль, – прогугнула ему прямо в лицо харя, пахнув каким-то серным смрадом.

«Это нечистая!..» – смекнул, трезвея, Авдей, хотел, было, соскочить и броситься наутек сломя голову, пес с ним, с гусем... Но кисть его все еще была зажата мохнатой рукой, пока другая такая же рука не сунула ему в ладонь прохладную кругляшку – серебряный рубль. И сразу же никого вокруг, тихо и даже безветренно. Тут уж Авдей вскочил и, не оглядываясь, припустил вперед к дому, благо, было недалеко. Бежит, тяжело дышит, не мальчишка уже, тридцать с лишним, и слышит – настигают, топают, хлопают сзади, кричат:

– А-а! Ты обманул нас! Твой гусак мертвый! И головы у него нет! А мы тебе рубль неразменный дали! Верни сейчас же, не то задавим!..

Жизнь дороже рубля. Бросил Авдей серебряный на асфальт, и звон даже слышать было, да, все не оглядываясь, все той же прытью к дому. У самого подъезда – на тебе! Старый знакомый Серега, давно не видались, остановил.

– Ты чего по ночам бегаешь? – смеется. – Днем-то когда бы встретились...

Авдей хотел, было, рассказать Сереге все, что с ним только что приключилось, но, похоже, будто ничего этого не было, а просто упал он в грязь и на какое-то мгновение заснул, а оно и пригрезилось. Поэтому он так и сказал, оттирая ладонью грязь с куртки:

– У друга выпили, шел сейчас и в грязь упал.

– Ничего, отмоешься, – успокоил его Серега. – Слушай, ты телевизоры-то все еще ремонтируешь? Заглянул бы как-нибудь ко мне по старой дружбе. Телевизор сломался. Ты его раз отремонтировал, помнишь, наверно? Цветной...

Старой дружбе отказать нельзя. Авдей пообещал назавтра зайти. Но что-то было на другой день самочувствие нехорошее: похмелье не похмелье, но муть жуткая и круги какие-то зеленые перед глазами, казалось, того и гляди, глюки пойдут. Да и вчерашнее приключение было настолько свежо, что казалось каким-то воплотившимся бредом и совершенно не выходило из головы. То Авдей жалел, что выбросил неразменный рубль, а надо было бежать и бежать до самого дома; то, наоборот, радовался, что отдал, отвязался от чертей, а то, кто знает, будут по ночам приходить, будить, долг требовать. И хотя эту ночь Авдей спал хорошо, спо-

койно, но днем, вот, пожалуйста, – всякие круги перед глазами, тошнота. Нет, это не похмелье, это будто предчувствие какой-то перемены.

Но никаких перемен как раз не происходило с ним. Он просто никуда не выходил из дома всю неделю. И тошнота, и муть, и круги сменились какой-то тягучей тоскливой ленью. Вспоминались зачем-то прошлые поступки, попытки утвердиться в жизни, которые терпели крах, как песочные, или еще хуже, воздушные замки. И в этом он винил тогда не себя, а своих друзей, знакомых, которые, мнилось ему, не замечают его доброго отношения к ним. И постепенно он отдалялся от них с грустной и вместе с тем гордой мыслью не общаться никогда с теми, кому он неинтересен. Гордыня человеческая трудно смиряема, но он пытался ее смирять и находил даже наслаждение в сознании себя отвергнутым, осмеянным, опустившимся внешне, но неустанно укрепляющим дух свой внутренне. И в этом тоже была его гордость. Он мог, например, не пойти туда, где ему бывало хорошо, но однажды показалось, что там он уже надоед, и он не шел день, два, неделю... И так получилось, что довольно обширный круг его знакомых с годами, как-то непроизвольно, видоизменялся. В конце концов Авдей забывал и не сожалел о старых, когда-то очень теплых привязанностях. В последнее время общается он исключительно с людьми богатыми, вроде Семена Артемича, но увлеченными, кроме обогащения, еще какими-нибудь выдумками, хоть простой рыбной ловлей. Авдей всегда искал в друзьях лишь интерес общения, и не более, никакого подобного им образа жизни или пристрастия не принимал и всегда держался мысли, что и отсюда уйдет запросто, как только почувствует обиду или простое одиночество. Авдей давно приметил такую закономерность: пока ты стремишься к людям, они отталкивают тебя, но стоит только отдалиться от них, как они сами лезут к тебе.

Сергей пришел к нему к концу недели все с той же просьбой:

– В мастерскую возьми – там сдерут, зарплаты не хватит. Да и не дают ее нам, зарплату. Давай сходим, тут же недалеко, посмотришь, а то жена меня запихнула уже...

Ни слова не говоря, Авдей собрался, взял чемоданчик с инструментами. По дороге все извинялся:

– Болел всю неделю, никак собраться не мог. Я помнил, что обещался, а все думаю – завтра, завтра...

Дома у Сергея было бедновато, Авдей сразу это заметил. «Стенка», диван, два кресла, на тумбочке цветной телевизор старого образца, впрочем, вся мебель того же старого образца, времен развитого нашего социализма. «В то время семья была достаточно обеспеченной», – зачем-то отметил про себя Авдей. Он часто бывал здесь в гостях, и вся эта обстановка ему помнится, здесь его не раз угощали вином и обильной закуской...

– А сын-то у вас где? – вспомнив, что у Сергея с Ниной подрастал в это время парень, поинтересовался Авдей.

– В армии, – в один голос с гордостью ответили родители. – Дослуживает, к Новому году ждем. Не знаем только, чем угощать будем... Ты приходи, Авдей...

Нина спросила, женился, нет ли Авдей? Вопрос был неприятен, и Авдей только усмехнулся на него и поскорее взялся за телевизор. В схеме блока питания был пробит диодный мост, Авдей сразу его определил, выпаял и показал хозяевам:

– Вот...

– Ой, наверно, дорого стоит? – первое, что вырвалось у Нины.

– Да ничего не стоит, – успокоил ее Авдей, – есть он у меня с собой.

– Ой, как хорошо-то! – обрадовалась Нина.

Пока Авдей впаивал деталь, потом настраивал телевизор, Сергей успел куда-то ненадолго отлучиться. Вернулся довольный, Авдей без труда догадался, что он сбегал, попросил у соседей взаймы, а потом уже побежал за бутылкой. Телевизор показывал еще довольно сносно, хозяева были этому очень рады и даже горды, что вот уже столько лет и почти без ремонта. Нина стала собирать на стол закуску, Сергей с важностью водрузил сюда же бутылку водки. Глядя на

хлопочущую Нину, Авдей подумал, как она пополнела. А ведь было как-то на вечеринке, она состроила ему такие глазки, что через минуту, уединившись с ней на кухне, он начал тискать ее и шептать такое, что она, испугавшись его реакции на свой бездумный флирт, тут же пошла на попятную, обратив все в шутку. Потом он еще раза два был у них в гостях, и Сергей с женой держались при этом такой любящей парой, что Авдею было неловко за прошлый свой пьяный поступок, и он перестал у них бывать.

Откупоривая за столом бутылку, Сергей, смеясь, заметил:

– Еще одну придется брать...

– Почему это? – не очень строго возмутилась Нина.

– Видишь, пленка на горлышке от пробки осталась?... Примета такая.

– А, бери, деньги есть, дак, – засмеялась Нина.

Авдей улыбнулся как-то застенчиво, взглядываясь в них обоих, подумал с приятностью:

«Какие они все же бесхитростные...»

Телевизор пел и показывал что-то веселое, радуя хозяев своей исправностью. За столом пили, закусывали специально, как проговорила Нина, для этого случая состряпанными пельменями. Всем было хорошо. Бутылка подходила к концу. Авдей заметил, как Сергей переглянулся с женой и та пожала плечами.

– Нет, больше не надо, – остановил Авдей движение Сергея. – Не ходи... Я что-то плохо себя чувствую в последнее время, да и деньги незачем тратить...

Так и посидели вечер: допили эту бутылку, доели пельмени, чай попили с вареньем, телевизор поглядели; в карты сначала играли, потом Нина взялась гадать по ним, обоим – и мужу, и Авдею. И уже довольно поздно Авдей засобирался домой.

– Тебя проводить? – предложил Сергей.

– Не-е, чего я, пьяный, что ли...

– Все равно... – уже в дверях Сергей достал из кармана бумажку в десять тысяч и хотел сунуть Авдею в карман. – Возьми вот, за работу...

– Да ты что, даже и не думай, – отмахнулся Авдей. – И так хорошо посидели, угостили... Не-е, не возьму...

– Возьми, чего ты, – услышала их возню Нина.

– Не-не-не, – наотрез отказался Авдей.

– Ну ладно тогда, спасибо, – поблагодарил Сергей. – Ты заходи, если что... просто так заходи.

– Смотри, заходи! – наказала и Нина.

На улице шел дождь, не хлесткий, но сыпкий и очень чувствительный. Успевшая за неделю выветриться грязь опять разбухла и полезла на тротуар. Авдей надвинул поглубже на голову фуражку, поднял воротник куртки и потрусил, размахивая чемоданчиком. Почти у дома ему захотелось курить, несмотря на дождь, на позднее время, на то, что перед уходом покурил на пару с Сергеем на кухне... И вот же, так сильно захотелось курить, что пришлось остановиться, достать сигарету, спички... Но прикурить не успел, только и есть, что чиркнул спичкой, а ему вдруг к самому носу гуся суют. Главное, гусь-то странный какой-то: сам в перьях, как положено, с крыльями, а ни головы, ни лап нет. И та же самая косая харя опять глядит в упор на Авдея и гугнит:

– Гуся нам дал, а рублем серебряным гнушаешься! Теперь у тебя в кармане десять тысяч лежало бы... На рубль, а то по шее получишь!

Что тут делать? Трезвый Авдей, может, и растерялся бы, но подвыпивший как-то быстро сообразил, выплюнул неприкуренную сигарету да заорал с каким-то завыванием, аж сам испугался, и бежать, пока по шее не получил. А сзади догоняют, топают, хохочут, смрадом серным воняют.

– Стой! – кричат. – Возьми рубль!..

Насилу убежал. В подъезд заскочил, дверь за собой притворил, а там на свой этаж и в квартиру. Дверь на ключ.

Пока мокрую одежду снимал, немного успокоился, наваждение как бы прошло, и казалось уже, что ничего и не было на самом деле, так только – почудилось с пьяных глаз в темноте. Крика своего малодушного стыдно стало, хорошо еще в тот момент мимо никто не проходил.

Авдей подошел к окну, закурил. На улице было по-прежнему спокойно, дождь перестал, время от времени шуршали колесами легковушки, появлялись и прохожие: некоторые проходили быстро, топая башмаками, а некоторые, напротив – плавно, бесшумно и часто с большими заносами с тротуара на газон и обратно. Покурив на кухне, Авдей вернулся в комнату и усмехнулся тому, что у Сергея бедность сразу заметил, а у себя то же самое не хочет видеть. И тут же нашел оправдание, что пока живет один, и стараться-то вроде незачем. Достал из шкафа остатки коньяка, допил, включил телевизор и лег спать. Удивительное было спокойствие, будто полчаса назад на улице к нему никто и не приставал.

И уснул бы Авдей спокойно, под завывание полуголой телезвезды, но в дверь резко, как обычно бывает среди ночи, позвонили. Авдей соскочил, прошлепал в коридор к двери, прислушался...

– Кто там? – тихо спросил, хотя не далее чем вчера мог, не задумываясь, отпереть дверь сразу, без вопросов.

С той стороны молчали, но было слышно, что кто-то там есть, шебуршится.

– Кто там? – уже увереннее спросил Авдей.

С другой стороны, немного нараспев, откликнулись:

– Авдюха-а, открой, друган... Это я, Колян...

Колян уже походил на бича. Он и раньше-то пил, но еще держался, ходил на работу, хоть и часто прогуливал.

Потом уволился, еще куда-то раза два-три устраивался, отовсюду прогнали – и вот теперь он такой. Обычно Авдей избегает с ним встречи, и не потому, что в любой раз Колян обязательно попросит, хоть тыщонку, на похмелье, но просто неприятно постоянно глядеть на его жалкий вид. Был Колян и сейчас пьян, но денег просить не стал и вперед пройти отказался. Прямо с порога, переминаясь прегрязными ботинками, начал говорить:

– Я, елки, к этому... к Сереге зашел с бутылкой. Меня, правда, Нинка гоняет, но сегодня мы с Серым на лестничной площадке, на ступеньках прямо, посидели, выпили маленько, поговорили... Ты, если, у них телевизор сделал, да?... Молодец... Голова ты, Авдюх. Кажет, как новый, елки... Ну, думаю, да... Ты, Авдюх, у меня это... тоже телек не пашет. Я там ковырялся, конечно, но лампы все целые, ни одной не продал. У жены шапку продал, а тут нет, ни за что... Ты давай, Авдюх, приди, знаешь же, где я живу. А то скучно без телевизора, елки, хоть посмотреть когда, с похмелья, – Колян засмеялся своей шутке, присел на корточки, опершись плечом о дверь, и уходит, видимо, не торопился.

Авдей стоял перед ним в трусах, было немного холодно, и чтобы хоть как-то отвязаться, пообещал:

– Ладно, завтра приду, вечером. А сейчас давай, поздно уже, я спать хочу...

Колян безоговорочно ушел. Заперев дверь, выключив свет и телевизор, Авдей лег спать и скоро уснул. И как бы крепко и спокойно ни спал, утром опять, как в прошлый раз, болела голова, мутило, иплыли перед глазами разноцветные круги. Никуда идти не хотел, но Колян ближе к обеду появился сам, и как Авдей ни ссылался на плохое самочувствие, уговорил-таки пойти:

– Там и делов-то ничего, Авдюх... Какой-нибудь проводок оторвался...

В доме у Коляна происходило уже, по всей видимости, саморазрушение – начиная с отклеивающихся обоев, линолеума, треснутого в двух местах окна, продолжая журчащим проточной водой унитазом и кончая мертвым, облезлым и в паутине телевизором черно-белого

изображения. Чтобы еще подобраться к телевизору, Авдею пришлось перешагивать через штабель пустых винных бутылок; задел, несколько штук зазвенели по полу к старому, скособоченному дивану.

– Вот, говорил Зойке, – сдай сходи, – пожаловался Колян на жену. – Не пошла, ждет, видно, когда я схожу, елки.

– А где она у тебя?

– Зойка-то?... На работе, уборщицей в магазине. Ща придет на обед, за бутылкой сгоняю, скажу, мастера надо угощать.

– Ничего не надо...

– Ну да, не надо, елки...

Все потроха у телевизора были крученые-перекрученные и держались на честном слове. Поправив оголенные провода, перекошенные лампы, Авдей рискнул включить всю эту рухлядь в розетку. Естественно, сразу же повалил дым.

– Во-во! – будто обрадовался Колян дыму. – Я говорю, он у меня когда-нибудь взорвется и весь дом спалит. Вот смеху-то будет, елки...

Ремонтировать не было никакого желания уже потому только, что за этой неисправностью в таком телевизоре возникнет сразу же другая, а потом, может быть, и еще. Кто знает, сколько тут Колян накрутил своих проводочков? А если даже и починить этот телевизор, все равно не через день, так через неделю он опять поломается, не сам по себе, так Колян в сердцах саданет ему кулаком по макушке, чтоб другой раз показывал лучше. И опять задымится что-нибудь внутри, и опять покой...

Пришла на обед Зоя. Поздоровалась, прошла на кухню, Колян за ней.

– Лучше бы не приходила! – сразу же послышался ее голос с кухни.

– Ты ща поорешь мне! Я сказал, елки! – остановил Колян ее крик кулаком по столу. «Еще не хватало, чтобы из-за меня они собачиться стали», – с неприязнью подумал Авдей и, позвав Николая, предупредил:

– Ничего не надо, я все равно не буду.

– Ну да, не будешь, елки, – не слушал Колян никаких возражений. С трудом, с неохотой, потрескивая, посвистывая, телевизор заработал. Изображение от «подсевшего» кинескопа мутное, негативное – не люди, а черти там скачут, кривляются. Колян к тому времени все-таки выдрал у жены бутылку, вместе пошли, и она там, в магазине, заняла. Обратного не вернулась, видимо, решила обед пересидеть где-нибудь у магазина на ящичке, отдохнуть от скандалов.

– Я его и не смотрю почти, – указал Колян стаканом на телевизор. – Раньше там хоть кино показывали, а сейчас одни политические разборки. Больно мне охота знать, кто там у кого и чего украл, елки. Я одно знаю, что, кроме выпивки, мне уже ничего тут не светит. Мне домой заходить противно, как зайду, так глаза бы ни на что не глядели, сразу же уйти куда-нибудь хочется. А куда-нибудь приду, елки, мне и оттуда сразу уйти хочется... если там бутылки нету, – добавил Колян и засмеялся.

По телевизору показывали какой-то дикий видеоклип со страшными и непристойными превращениями, отсечением голов и прочих элементов человеческого, или, скорее, дьявольского, тела. Но все это стало настолько обычным и повседневным, что казалось, погляди не в телевизор, а за окно, – увидишь точно такую же картину и ничуть не удивишься. Колян опьянел едва ли не с полстакана, сидел и городил всякую философскую околесицу о том, что все мы постепенно ко всему привыкаем:

– И Зойка моя привыкла ко мне. А сначала все травила меня, от бутылки отучала, кодироваться гнала – ща... Привыкла, никуда не делась... Мы и к бедности уже, Авдюх, привыкли. Раньше, елки, если хлеба в доме нету, на удивление было, а теперь ничего, сойдет...

Авдей оставил его с недопитой бутылкой, уснувшего головой на столе. На улице лил сплошной дождь. От такой погоды и остается только одно – законопатить наглухо окна в доме,

напиться и упасть лицом в тарелку, и хорошо еще осень не поздняя и есть какая-то надежда на теплые дни. В этот раз Авдей не видел никаких харь, но голос ему послышался отчетливо:

– Возьми рубль-то, дурак! Молчать бы надо, да кто подскажет разве.

Ввязался Авдей:

– Ага, – говорит, – я возьму, а вы же меня и прикончите.

– За что? Гусь-то твой у нас. Пока рубль тебе не отдадим, мы гуся ни продать, ни зажарить не можем. А у него уже и голова выросла...

Идет Авдей, оглядывается по сторонам. Никого рядом с ним нет. Да и кто в такой дождь на улицу выйдет. А голос опять ему гугнит:

– Ну бери, что ль, а то промок я с тобой тут... тоже мне – бессребренник! В церквях и то деньги берут. Вот домой придешь сейчас, чего есть будешь? В магазин по пути не зайдешь – в карманах пусто. А не выбросил бы рубль тогда, было бы их у тебя теперь полный карман, и не к Коляну, пьянчужке, ходил бы на шабашку, а к самому министру, может. А к этим-то чего ходить, к голодранцам...

Родной подъезд был уже близко, и, отфыркиваясь от дождя, Авдей осмелел, вздумал посмеяться:

– Ведь гусь-то все равно мертвый!

– А ты обмани нас, – не смеясь, настаивал невидимка. – Мы таких и награждаем, кто обмануть нас сможет. На рубль, на!

И он, то есть непонятно кто, вдруг насильно всунул Авдею в зажатую в кулак ладонь холодную кругляшку, вернее, не всунул даже, а рубль сам собой вдруг серебряным холодком почувствовался в кулаке. Как и прошлые разы, мгновенно охватил Авдея ужас и он бросился бежать. А сзади опять хохот и крики:

– Отдай! Отдай! Обманщик! Вор!

Но не разжал на этот раз Авдей кулак, не зазвенел по асфальту с перепугу выброшенный рубль. Захлопнув за собой дверь подъезда, Авдей без лифта и без оглядки мигом заскочил на свой седьмой этаж. Хотя за этот миг успел вздрогнуть от мысли, что у него что-то с головой происходит, и надо, видимо, обратиться к врачу. Но, замкнув дверь на ключ, от тут же обрел спокойствие, будто пять минут назад никакого общения с невидимым у него не происходило и неразменный рубль в кулак ему не сунули. Кстати, этот самый серебряный рубль Авдей запросто, словно обыкновенный старый пятак, бросил в карман куртки и забыл про него. Переоделся в сухое, подошел к окну. Там дождь перестал, и вот-вот готово было прорваться меж клочкастых черных туч солнце. Но не прорывалось. Лишь изредка высвечивались ясным светом лучи его и тут же затухали в наплывавшем мраке. Было у Авдея такое настроение, такое чувство, что если прямо сейчас выйти на улицу, то там повстречаешься с совсем незнакомым тебе человеком. И с ним ты познакомишься, подружишься, полюбишь его, и жизнь твоя озарится видением нового пути. На том пути будет тебе легко и радостно на любом перекрестке, в каждом доме, где придется остановиться.

А идти было совершенно некуда, какой бы повод выйти из дома Авдей ни придумывал. И наконец решил пойти просто так, без повода, куда глаза глядят. На улице прислушался, огляделся по сторонам. Все нормально – обыкновенные прохожие, обыкновенные звуки города. Вот идет молодая женщина, скромно одетая, видно, мать-одиночка, ведет за руку девочку. Красивая, лупоглазая малышка машет зажатой в кулачке куколкой и бойко напевает песенку про петушка, у которого «мясляна головушка, шелкова бородушка».

– Ба! Авдей! – удивленно воскликнула ее мама.

Авдей вздрогнул, узнав голос, посмотрел в зеленоватые глаза. Сразу же вспомнились былые поцелуи, выяснения отношений, предложение, какое-то неуклюжее, не вовремя, – и отказ. Сколько же лет прошло? Около десяти, не меньше. Тогда Авдей постарался побыстрее забыть ее и даже возненавидел. Он знал, что отказала она ему из-за какого-то подвернувшегося



ей парня, за которого вскоре выскочила замуж, и Авдей знал, что ничего хорошего у нее с этим замужеством не выйдет, будет она несчастна. Почему-то чувствовал он так... или хотел этого? ... А вот поди ж ты – дочка у нее, да какая забавненькая. Ах, Лена, Лена...

– Не узнал? – засмеялась.

– Узнал... А это твоя дочка?

– Моя... заболели вот немного. В больницу приезжали. Лекарства прописали, а они дорогие. Где я возьму столько денег? У меня иногда и на хлеб-то не бывает...

Изменилась Лена, даже морщинки у глаз появились, хотя из-под шапочки такие же светлые кудряшки выглядывают. Они-то и привлекали всегда Авдея, их-то, наверное, больше всего и помнит. Не сменила прическу, не перекрасилась, не постриглась, как обычно делают завертевшиеся за тридцать пять женщины. Идти было все равно куда, Авдей вызвался проводить их, тем более что почувствовалось ему в этой случайной, а может, и предуготовленной встрече какое-то оживляющее душу тепло. Девочка сразу же познакомилась с ним:

– Меня звать Анечка, я хожу в садик, сейчас болею...

Проводил он их до автобусной остановки и подождал, пока они уедут. На скорую руку Елена рассказала ему, как два года назад прогнала мужа, от которого никакого толку не было, даже пять лет ребенка не мог сделать, кое-как дождалась. Сейчас свободна, работает на предприятии, денег не платят. Увлекается экстрасенсорикой, всякими гаданиями, верит в Бога и ходит в церковь...

– Когда есть, много пью кофе... Стала курить... А вообще, все та же... Слушай, а помнишь, ты помог мне телевизор выбрать в магазине? Он до сих пор у меня стоит. Правда, не работает, – засмеялась. – Ты не зайдешь как-нибудь?

– Зайду, – пообещал Авдей.

Елена быстро что-то прикинула в уме:

– Зайди, примерно, через недельку, – и тут же поправилась, – а вообще, можешь приходить, когда хочешь...

И он пожаловал через неделю. Раньше собраться ему не позволило обыкновенное самолюбие. Лена отворила ему дверь мрачная, с застывшими, какими-то потемневшими вдруг глазами.

– Что-то случилось? – тихо спросил он.

– Проходи, – так же тихо сказала она. – Анечка сильно бледнеет. Лихорадка у нее какая-то, трясет всю.

– Надо к врачу...

– Да приходила участковая, что толку-то... Подруга, вон, бабушку свою, знахарку, привезла. Хотим заговор сделать, бабушка говорит, пройдет сразу.

– Может, мне потом прийти?

– Зачем, проходи, – Елена слабо улыбнулась. – Они в комнате, а телевизор у меня на кухне стоит, там и антенна есть.

Невысокая, повязанная белым платочком старушка топталась в зале около дивана, держала в вытянутых руках какую-то миску и водила ею кругами над больной Анечкой. Пугливо оглянулась на прошмыгнувшего на кухню Авдея. Сидевшая в зале на стуле молодая женщина рукой показала бабушке, чтоб та не пугалась.

– Ладно, ты тут сам смотри, – сказала Авдею Елена, – а я пойду к ним, – и по лицу ее скользнула тень муки.

Телевизор старенький, черно-белый, но ухоженный, ни пылинки, ни царапинки. Авдей включил его. Тот прогрелся, затем появился звук и засветился экран, только изображение на нем было как бы завернуто. Авдей телевизор опять выключил, снял заднюю стенку. Включил. А из комнаты вдруг послышался тоненький, нараспев с подвываниями голосок старушки-знахарки:

– Кумажа! Кумажа! Девка огненная, Трясовица черная...

А по телевизору показывали какой-то очередной мировой скандал с вооруженными разборками. Куда-то срочно перебрасывались бомбардировщики, шли неустрашимые авианосцы. Авдей крутил ручки, замерял ток, подпаивал конденсаторы, но ничего не менялось, все так же летели неуловимые истребители вверх тормашками, крутыми виражами уплывая куда-то внутрь экрана. И диктор печально сообщал о разбомбленном где-то городе, о погибших его жителях. А рядом в комнате все не уставала старушка притоптывать, подпевать, страшить:

– Кумажа, девка огненная, тебе говорю – поди прочь, за топкие болота, за темные леса, за окиян-море на бел-горюч камень... У собаки боли, у кошки боли – у рабы Божьей Анны заживи...

А телевизор все долдонил о каких-то самонаводящихся ракетах, лазерных бомбах, минах и прочая убивающая, разрушающая, уничтожающая. Было жарко на кухне, руки у Авдея потели, сам он ничего не соображал, будто в первый раз открыл телевизор, хотя недавно мог похвастаться, что черно-белые может отремонтировать с закрытыми глазами. А сейчас даже и закрывать их не надо – вместо схемы какая-то кутерьма в голове: девки-Трясовицы, охваченные огнем, прыгают, прыгают вокруг постели Анечки, тянутся к ней, скалят зубы, глаза у них светятся в пламени... Дым из телевизора отвлек Авдея... Вот она и неисправность... без задымления и не определить было...

Уходя, обещал через день-два зайти проверить, все ли в порядке. В доме у Лены немного успокоилось: Анечка, намучившись лихорадкой и криками, уснула; дверь в зал затворили, и старушка со взрослой внучкой перешли на кухню, попить чаю и посмотреть какое-нибудь кино по телевизору. Авдею предложили посидеть с ними, он отказался, непонятно отчего смутившись и покраснев, сослался на будто бы срочное дело. Провожая, на пороге Лена как-то печально глянула ему в глаза и подала десять тысяч за работу. Рука его потянулась и взяла деньги...

– Ну вот теперь ты наш! – первое, что он услышал, выйдя на улицу. Прозвучало отчетливо и громко. Саркастически.

Вокруг никого не было. Авдей отшатнулся к стене дома, и его тут же сильно вырвало.

– Кумажа... Камажа, – повторял он поразившее его слух слово, пытаясь понять смысл его, пытаясь осознать, что же это он такое сейчас натворил?...

Пока ждал автобус, начало темнеть. В окнах домов мозаикой зажегся свет, то и дело меняя символы рисунков. Авдей с любопытством вглядывался в отдаленный светящийся мир, и в каждом окне ему мерещилась Кумажа, лихорадка огненная. Хорошо еще рядом на остановке люди стояли, а то он сорвался бы, наверно, с места и побежал куда-нибудь напропалую. В кармане куртки он вспотевшей рукой нащупал десятку, серебряный рубль также нащупывался и жег холодком кончики пальцев.

– Кумажа... – проговорил тихо, но его услышали, обратили к нему удивленные взгляды. Смутившись, Авдей поскорее достал сигареты, чиркнул спичкой.

Докурить не успел, подошел автобус. Все ввалились, и места хватило всем. Толстая кондукторша уверенно шла по автобусу и собирала пассажирские деньги. Все безропотно расплачивались, и только двое пареньков, лет по пятнадцати, нагло заявили, что денег у них нет; и как их кондуктор ни стыдила, ни бранила, с места не сдвинулись и выражения отупевших лиц не изменили. Была следующая остановка, и в автобус влез почти на четвереньках, с двумя самодельными кривыми клюшками, старик. Юродивый, сразу видать по выражению глаз, по вздернутой кверху реденькой бороде, по расхристанной грубой накидке и по большому, как у попа, медному кресту на шее. Тыча в пол клюшками, почти волоком передвигая ноги, зажав в одной руке вместе с клюшкой целлофановый пакет, он завыл вдруг противно, на весь автобус, песнь подаяния:

– Православные-а! Не оставит вас благодать Божья, помозите немощному на хлеб-соль Христа ради...

Кто давал несчастному денежку, кто отводил взгляд, кто просто смотрел печально, не шелохнувшись. Один из тех пареньков, что отказывались платить за проезд, тоже вдруг вытащил из кармана брюк тысячу.

– На! – сказал, будто сделал одолжение, и сунул нищему в пакет.

– Храни ты Бозе-е! – приостановившись, поблагодарил его нищий.

– Ладно, – хихикнул в ответ мальчишка. Щедрая его выходка враз вывела из себя кондуктора, она почти завизжала:

– Ах ты наглец! Денег у него на билет нету! А на милостыню еся!.. Ну-ка, выметывайтесь из автобуса оба! Никуда не поедет, пока не выйдете...

Автобус остановился на остановке, а пацаны так и не сдвинулась с места, вцепившись покрасневшими пальцами в поручни. Зато вышел юродивый. И уже закрывались двери, Авдея как осенило что-то: он сорвался с места, задержал двери руками и выскочил.

– Вот! Возьми! – сунул десятку в пакет нищему.

– Спаси ты Бог! – поблагодарил юродивый, перекрестил Авдея и пошел дальше, напевая: – Блаженны люди, и промысел их нетлен...

Автобус ушел, никого не осталось на остановке. Дул влажный ветер, но Авдею не было холодно. Нарастало внутри какое-то блаженство, легкость. И в этот миг вдруг опять показалась перед ним косая харя, на этот раз он стоял перед Авдеем во весь рост: в полосатых штанах, в серой полосатой рубашке, при галстукке...

– И-эх! – вскрикнул обреченно. – На фига я с тобой связался! – рванул на груди рубаху, подпрыгнул, крутанув хвостом, и растаял, исчез, даже вони не осталось.

Авдей опустил руку в карман куртки – неразменного рубля там как не бывало. Подошел автобус, распахнул двери. Авдей вошел, сел и начал шарить по карманам – денег за проезд не было. А кондуктор уже приближалась, и хорошо, что ехать ему оставалось всего одну остановку. Домой от остановки он шел мимо магазина, вспоминая, что дома холодильник пустой. «Ну и ладно, – решил он, – приду сейчас, разденусь и спать лягу пораньше, а будет день завтра, будет и пища...»

Однако спать ложиться не пришлось. В двери ему была записка от Семена Артемича:

«Дорогой друг! Приглашаю на ужин отведать гуся и выпить рюмочку. Если не затруднит, возьми инструмент – сломался телевизор...»

## Петр Илюшкин



**ИЛЮШКИН** Петр Николаевич родился в 1964 году в Иркутске. Окончил в 1986 году Камышинское командное училище. Долгое время служил в Ашхабаде. Сейчас служит на Северном Кавказе. Подполковник погранслужбы.

## ГЕРОИНОВЫЙ СЛЕД СОВЫ

– Ты, мужик! – злобный, тупой, тяжелый взгляд мутных глаз с почти невидимыми, суженными до предела зрачками впился в майора, плескавшегося в обшарпанном, убогом умывальнике пограничной общаги, – ты че гонишь на мою жену?

Иван Дорофеев, офицер разведотдела штаба округа, редко появлялся в своей тесной казенной комнатенке – такова уж специфика боевой службы на Кавказе. Чеченские ущелья, пещеры, блиндажи с окопными вшами – вот место его настоящей прописки. В общем-то, лучшего места для человека, исповедующего боевое искусство таинственных «ночных демонов» – ниндзя, и не придумать.

Ну а в городе Иван несколько расслабляется, позволяя не придерживаться принципов ниндзюу: какие такие опасности могут подстергать воина в совершенно мирном месте? Единственно, что неукоснительно и ежедневно он выполнял – изнурительные утренние тренировки, с обязательным метанием в цель сякенов и сюрикенов (металлических звездочек и стрелок).

С обитателями общаги майор, в силу своего полевого образа жизни, особо не был знаком, как и с нелюдимым, угрюмым, не вылезающим из своего «бунгало» гражданским типом по прозвищу «Му-му». Тип имел громадную, заплывшую жиром конфигурацию с густой рыжевато-белесой шерстистостью, необычайно писклявый фальцет и, естественно, толстенную басистую жену-прапорщицу.

Потому-то Иван и удивился, заслышав в пустынном умывальнике «колоратурное сопрано» в исполнении того самого типа гражданской наружности. Тем более что тон речи был угрожающий, несмотря на писклявые составляющие, а фразы более подходили для «зон», но никак не для офицерского, пусть и поганенького, жилья.

«Обкурился, бедолага» – сообразил офицер, знавший признаки и повадки наркоманов по своей службе в Туркмении. Всматриваясь в невидящие глаза прапорщицкого супруга, он вежливо спросил:

– Вы о чем?

– Ты че там гонишь?

– Во-первых, не «ты», а «вы», – уже жестче, но не грубо поправил майор.

– Ты меня учить будешь, мужик! – взвизг «волосатика» свидетельствовал о некоторой его вменяемости. Но упорное упоминание «мужика» наводило на мысль об уголовном прошлом Му-му или же нынешней связи с криминалитетом.

Будь подобная речь где-нибудь в гражданском общежитии, куда возможно проникновение любого сброда, вопросов бы не возникло. Но здесь, в месте проживания служивых людей, уголовные замашки вроде как исключались.

Впрочем, уголовников Иван не боялся. Он хорошо изучил психологию этого своеобразного пласта народонаселения и с кем угодно находил общий язык.

Но кто этот дивный жирный экземпляр, и чего он добивается, нарываясь на скандал? Может быть, повода, чтобы одним несильным движением волосатой лапы придавить представителя так ненавидимого им с прапорщицей офицерского «белого» сословия?

Не знал Вася (этот самый Му-му), общаясь только с себе подобными, что внешность порою очень обманчива, и в скромной, сухощавой, небольшой фигуре майора аккумулирована энергия необычайной разрушительной силы, способной уничтожить даже на расстоянии.

Реальные же возможности Васи, несмотря на его массивность, выдавала просто безобразная обрюзглость и бессмысленное выражение маленьких, заплывших жиром глазок. Стало быть, противник он никудышный, в случае столкновения усугубляющий свое поражение необычайной массой.

К сожалению, офицер и сам просчитался в своих выводах. То, что Му-му не представлял из себя серьезного противника в рукопашном бою, было верно. Но степень подлости была неизвестна. Что и сыграло в дальнейшем свою, хоть и незначительную роль.

Иван понял возможную причину (одну-единственную) агрессивности этого типа. Дело в том, что ночью, маясь от бессонницы, он заходил на кухню поставить чайник. А там возле электроплиты стоял Вася со своей женой Зиной. Заслышав скрип открывающейся двери, они вздрогнули и покраснели. И чтобы разрядить обстановку, Иван пошутил: «Мы, совы, птицы ночные». Но в этих словах ничего обидного не было. Может быть, «совой» кого-то из этой семейки обзывали в детстве?

Пока Иван размышлял таким образом, дверь умывальника открылась, и появилась Васина «вторая половина», отекая, неопрятная, с бигудями в засаленных волосах. Ее жирные губы обиженно тряслись, а глазки затравленно бегали.

– Уважаемая, – доброжелательно обратился к ней Иван, – неужели вас обидела «сова»? Если так, то я готов извиниться.

Но женщина молча прошла к умывальнику, а муженек ее вдруг резко выскочил за дверь. Не глядя на майора, Зинка неожиданно разразилась трехэтажным матом в отношении «проклятого офицера».

– Так вот в чем дело! – воскликнул Иван и, открыв дверь, крикнул вслед только что вышедшему мужу этой особы: – Уважаемый, посмотрите на странности вашей супруги!

Из-за угла коридора выплыл Василий и направился вроде как к умывальнику. Но, проходя мимо офицера, резко ударил его в грудь.

Не ожидая нападения, Иван все же успел перехватить руку Му-му. Однако довести прием до логического завершения помешала Зинка, выпрыгнувшая из-за умывальника и повисшая на плече майора.

Самое странное, что из-за того самого коридорного угла уже выглядывала комендант общежития, которая имела обыкновение появляться на своем рабочем месте чрезвычайно редко и не ранее обеда.

Конечно же, это было серьезнейшим оскорблением офицера. И моральным, и физическим. Но почему оно обигралось столь откровенно провокационно? Тем более с использованием комендантши, этой Жабы Ивановны, как метко окрестили ее жильцы общаги – и за обрюзгшую бесформенную фигуру, и за бесконечные доносы и нелепые слухи. Ведь на службе та появлялась исключительно после обеда, чтобы за чаепитием с вахтерами выведать у них «эксклюзив» для докладов «по обстановке». И жильцы не знали, кому же Жаба докладывает. Потому как ее многократно искаженная информация всплывала где угодно. Причем доносы эти не были болезненным извращением старушечьего ума. Что и подтвердило очень уж раннее появление комендантши в общаге.

«Что все это значит?» – раздумывал Иван, проходя мимо комнаты вахтеров, где Жаба Ивановна что-то быстро строчила, не обращая внимания даже на сладкие голоса любимого ею «мыльного» сериала.

Подойдя к двери жилища прапорщицы, он тихонько постучался. А когда в узкой щели показался глаз ее супруга, негромко сказал:

– Мужик, говоришь? Тогда пойдем поговорим.

Мимика лица Му-му не изменилась. Почесываясь, он стоял, бессмысленно глядя на майора. И лишь промышал что-то нечленораздельное, когда услышал грубый бас супруги, требовавшей послать «этих полковников» на х...», а затем молчком закрыл дверь. Странно!

– Дорофеев, к телефону! – вдруг гаркнула из вахтерской комнаты комендантша, прервав размышления Ивана.

– Срочно на вылет! – голос оперативного дежурного звучал встревожено и жестко. – В Чечне «чепе». Подробности узнаешь в штабе.

В «уазике», мчавшем группу офицеров на пригородный военный аэродром, Дорофееву рассказали о страшной трагедии, разыгравшейся ночью в одном из подразделений границы. Кто-то из солдат зашел в блиндаж и открыл огонь по спящим сослуживцам. Убив троих и ранив одного, он заперся в бронетранспортере, угрожая взорвать себя и находящегося там механика-водителя. Требование убийца выдвигал только одно – принести ему дозу... героина. Да-да, именно героина, а не какую-то коноплю или семена дурмана, которые массово произрастали во многих местах Аргунского ущелья.

Чтобы выявить и пресечь канал поступления героина в войска, штаб округа направил на границу своих лучших специалистов. От разведотдела выбрали майора Дорофеева, который давно изучил всех наркоманов, проживающих в приграничных селах Чечни.

Но Иван был твердо убежден, что чеченцы не распространяют наркотики среди пограничников. Не потому, что не хотят. Многие главари бандформирований, помня для себя положительный опыт одурманивания «шурави» во время афганской войны, мечтали повторить наркотизацию «гяуров». Однако в Аргунском ущелье условия для этого пока не созрели. Вот и предстояло выяснить, откуда же взялся у солдата героин.

Как оказалось, сделать это было чрезвычайно трудно. Убийцу страшно выкручивала наркотическая «ломка», и допрашивать его не имело никакого смысла. Но следователь военной прокуратуры капитан юстиции Игорь Медведкин все же сидел возле орущего нечеловеческими (причем разными) голосами солдата и вместе с докторами внимательно прислушивался к обрывочным фразам.

– Ничего толкового, – поморщился он, когда в палатку заглянул Дорофеев, – бубнит одно и то же, что «сова-сучара». Наверное, грезится ему дремучий лес с лешими да филинами...

– Что-то эти совы меня с раннего утра преследуют, – усмехнулся Иван, – только упомянул совиную кличку, как они налетели.

– Постой-ка! – перебил его Игорь. – Как я сам не догадался? Это же элементарно, Ватсон! «Сова» – никак не птица, а чья-то кликуха. Вот только неясно, удастся ли «расколоть» нашего наркошу. А какие такие «совы» тебя преследовали?

Подробно изложив обстоятельства утреннего провокационного нападения, офицер задумался. Во-первых, он и сам заподозрил четкую связь между шутивным упоминанием совы и агрессивным выпадом Му-му. Во-вторых, взгляд дебелого молчуна, какой-то волчий и немигающий, он уже когда-то видел. Вот только когда и где?

Вечером, когда вспомнили с Медведкиным совместную службу в Туркмении, Ивана осенило:

– Это точно он! Помнишь, лет семь назад возле забора части постоянно клубились местные наркоманы? Однажды я выследил бойца, тащившего им на продажу пять бушлатов. У своих же товарищей украл, сволочь! Так вот, когда он отдавал «товар», я и прыгнул с забора. Не сдержался. Надо было, конечно, дожидаться передачи наркотика, схватить их с поличным, а я сплеховал.

– Как не помнить? Шум стоял на весь округ – мол, лейтенант напал на беззащитного прохожего и сломал ему челюсть. Чуть не уволили тебя!

– Вот именно! Да и шут с ними, великими и могучими политотдельцами. Самое главное, что тот бугай, который брал у бойца бушлаты и ринулся на меня в атаку, обладал очень редким взглядом. Как у волка. Я это заметил, когда послал его в глубокий нокаут и подсвечивал фонарем, пытаюсь выяснить у солдата происхождение индивида.

– Да, но где Ашхабад, а где Кавказ! И лет-то сколько прошло...

Но, несмотря на свои сомнения, Игорь все же посоветовал другу проверить эту версию. И утром Дорофеев уже звонил из кабинета главы администрации соседнего поселка по спутниковой связи бывшему сослуживцу, организовавшему на Кавминводах детективное агентство.

А тут и убийца неожиданно начал «колотиться», когда медики помогли ему прийти в себя. Оказалось, что этот невзрачный на вид московский парнишка на гражданке, во время учебы в профессиональном лицее, прочно «подсел на иглу». Но родители сумели каким-то чудом вытянуть его из «героиновой дыры». Причем медкомиссия на призывном пункте ничего об этом не прознала и отправила рекрута охранять передние рубежи Отечества. Может быть, и отслужил бы парень честно и добросовестно, но...

– Героин умеет ждать, – с тоской в голосе рассказал он следователю. – Мозг прочно запоминает его действие. И даже если вылечишься, а через год попробуешь, то, считай, что ты опять «на игле». Так произошло и со мной. Когда я служил при штабе округа, одна прапорщица крутила-крутила передо мной жирной задницей, да и прижала в темной углу. Какой же солдат откажется от бабы, какой бы страшной она ни была? Ну а потом она и втянула меня в прежнюю беду...

– Что же, бесплатно? Героин-то не дешев!

– Конечно! Парочка доз обходится в полтысячи рублей. И так каждый день.

– Откуда у солдата такие деньги?

– Да находил, куда деваться. А как в Чечню попал, все больше в долг получал. А как получал, уже не скажу, извините. Разные есть способы. Только вот иссяк однажды тот канал, и поехала у меня крыша... а местная дичка-конопля беспонтовая, тем более в сравнении с героином.

– В общем, подвела тебя «Сова»?

– Ну что тут поделаешь?

И хотя наркоман не стал называть фамилию той прапорщицы, все равно картина вырисовывалась серьезная. А персонифицирование всех действующих лиц – не такой уж сложный процесс. Чуть раньше или позже, роли не играет.

Но, как оказалось, время сыграло свою отрицательную роль. Когда через трое суток Дорофеев вернулся из Чечни, его ожидали странные известия.

И сообщили их четверо крепышей интеллигентного вида, которые поджидали майора возле ворот авиаполка.

По их словам, тот общежитский Му-му действительно имеет ашхабадское происхождение. И в тамошнем наркобизнесе не новичок, хотя и не имел большого веса. Но несколько лет назад его напарник попался с килограммом героина и был, согласно местному закону, расстрелян. А Му-му, имевший кличку «Сова», неожиданно исчез. Прихватив с собой запас наркотика, выданный им на реализацию. И тянул тот запас на десяток килограммов.

И только сейчас, перехватив сообщение Ивана со спутниковой связи (точнее, его запрос на проверку информации), некие серьезные люди нашли Му-му.

– Вот он, посмотрите, – незнакомцы протянули Дорофееву фотографию трупа с пулевым отверстием посреди лба. – Узнаете своего обидчика? Мы охладили его пыл, чтоб не повадно было на офицеров руку поднимать. Но у нас большая просьба – не трогайте его супругу. Хорошо? Она будет наказана своими методами. И скажите об этом своему другу, Игорю Медведкину. Вы с ним хорошие ребята. Таких бы побольше нашей России.

Завершив таким образом свою речь, крепыши сели на поджидавший их «мерседес» и уехали. Ивану осталось только добраться до общаги, удостовериться в правильности всего сообщения и... думать, как поступить.



## **Александр Тутов**

**ТУТОВ** Александр Николаевич родился в 1965 году в Котласе. По профессии врач. Создатель клуба русских исторических единоборств «Ушкуйник», победитель многих соревнований в этом виде спорта. Автор фантастических повестей и рассказов, вошедших в книги, изданные в Архангельске, – «Загон для льва», «Победитель должен уйти», «Ледяное дыхание» и др.

Член Союза писателей России.

## ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОИН

### 1

Денек был еще тот. Постоянно что-то происходило. Вызов за вызовом – то драка, то ограбление, то еще что. Но самое-самое ждало нас под конец дня. Майор Сергей Никитин снял после звонка телефонную трубку, я не слышал, что там ему сказали, но видел, как изменился он в лице и как с его губ сорвалось:

– О, черт! Опять! Немедленно выезжаем!

Потом он, повернувшись ко мне, сказал:

– Похоже, опять этот серийный козел начал действовать!

Действительно, было из-за чего нервничать. Уже третий месяц в районе орудовал какой-то тип, совершая дикие убийства по какой-то хаотической схеме. Жертвы были совершенно различны по полу, возрасту, социальному происхождению. Убивая, он грабил, но очень часто жертвы были такими, что и взять-то у них почти было нечего.

Взаимосвязь никак не прослеживалась. Убивал он чаще всего ножом или топором. Выйти на след его пока никак не удавалось. А эта жертва уже была девятой.

### 2

Дом, в котором все произошло, оказался старым, двухэтажным деревянным убожеством. Два подъезда, по четыре квартиры в каждом, то есть по две на этаж. Не все квартиры оказались заселены, в некоторых, прописавшись, хозяева предпочитали не жить. Убийство произошло в 6 квартире. Этаж был первый, соседняя квартира пустовала, а убийство обнаружила соседка сверху, когда решила попросить сама займы. Увидев, что дверь не закрыта, она постучала и вошла. Вид соседа с перерезанным горлом произвел на нее такое впечатление, что врач вот уже более часа не может привести ее в более или менее соображающее состояние. Для пожилой женщины такое испытание психики, естественно, оказалось чрезмерным. Она, всхлипывая, повторяла только одну фразу: «Я вхожу, а он там...»

Я спросил Никитина, почему он считает, что это опять действие того же убийцы.

– Он опять свою подпись оставил, – сказал майор и показал мне не три цифры, написанные кровью в углу за комодом, – «666».

– Число зверя, – кивнул я. – Поймаю этого сатаниста, так башку отверчу, падле. Живым, сволочь, брать нельзя!

– Ты прекрати такие разговорчики, пока начальство не услышало, – произнес Никитин и добавил. – Ты до него доберись сначала. А то заявления кидать мы все мастера. До сих пор никакой зацепки. Попробуй пойми, что может прийти в голову психопату.

– Все равно какая-то взаимосвязь между убийствами должна быть. У маньяков, если это маньяк, существуют какие-то принципы отбора. Кто на черные колготки реагирует, кто на цвет одежды или волос, еще на что... Главное, понять, что является для него пусковым механизмом.

– Ну что ты психолог, я усвоил давно, – усмехнулся Никитин. – Вынужден признать, иногда тебе удастся докопаться до истины, хотя время логиков-детективов прошло. Ни Шерлок Холмс, ни Эркюль Пуаро не разобрались бы в наших беспредельщиках. Тут старое правило «ищи, кому это выгодно». А уж таких типов, по сравнению с которыми Джек Потрошитель невинное дитя, как собак нерезаных развелось!

– Я думаю, что их и в стародавние времена хватало, только условия жизни давали им возможность выплеснуть свою агрессию во время войн, разбоя, пыток. Стал, скажем, палачом и доволен – и при деле и при кайфе!

– Ладно, хватит философствовать. Эту мразь отыскивать надо, пока он еще кого-нибудь не убил.

– Что там эксперты накопили? – Никитин уже представил, что скажет на совещании полковник Щербак.

Действия убийцы оставались непонятными. Каждый раз он убивал жертву в прихожей. Даже не проходя в комнату. Хватал, что попало на глаза, рисовал три шестерки и исчезал. Иногда он очищал карманы убитых. Не удивлюсь, если это действительно окажется сатанист, а тогда поимка его мною, православным человеком, является еще и долгом. И я этого изверга все равно поймаю. Зло должно быть наказано. Я долго размышлял, перебирая всевозможные версии и зацепки, думая, как же приступить к решению проблемы. К сожалению, данных оставалось недостаточно, и это убийство ничего не добавило и портрету убийцы. Но я не терял надежды.

### 3

Весь вечер я перебирал папки с документами, отчеты, показания, результаты экспериментов, пытаясь выявить хоть какую-то закономерность. Неудачно. Тогда у меня возник план, возможно и не самый удачный, но ничего другого придумать не удалось. Надо попытаться восстановить как можно подробней расписание для жертв. Где они были, что они делали, куда ходили и так далее. Дело это оказалось до жути непростым. Тут сам-то про себя не упомнишь, что делал в такой-то день, а уж про других и говорить-то нечего. Но все-таки кое-какая информация подбиралась, рассортировывалась, но ничего не давала. Злило больше всего то, что, пока я тут трачу время, маньяк может совершить очередное злодеяние. Я совершенно неожиданно наткнулся на одно нелепое, непонятное и пока кажущееся случайным совпадение. По крайней мере, трое перед своей гибелью побывали в кафе «Аква». Вроде бы ерунда, к чему это может привести, но другого-то не имелось. И я решился довериться интуиции, тянущей меня в кафе. Надежда и сомнения были на равных.

Я вышел на улицу. Капал мелкий дождь. Темный, осенний вечер ни к чему хорошему не располагал. Вспоминалось только грустное. Бросившая меня жена, которой надоели мои постоянные отлучки, и мои дети, которых я так редко видел, и мои неудачи, которые и привели в конце концов на работу в милицию. Хотя православным воином я стал гораздо раньше, об этом лучше лишнего не рассказывать. По крайней мере, пока. Теперь у меня была одна цель – защитить мир от скверны. О нормальной личной жизни я старался и не мечтать, дабы не беречь душу. Но иногда вот такой вот тоскливый осенний дождь нагонял грустные мысли.

Но вот и кафе. Над входом мигали неонов синие буквы: «Аква». Кафе оказалось достаточно затрапезным, ему лучше бы называться «Рюмочной». Старые, кособокие, обшарпанные столы, тусклый свет из пыльных ламп, толстая златозубая буфетчица в помятом фартуке стояла за прилавком. На витрине были выставлены угощения – различные виды и сорта водки, пива, портвейнов и других алкогольных напитков. С закуской было значительно сложнее – бутерброды с семгой и колбасой, соленые орешки, чипсы и прочая подобная дребедень. Взяв две кружки пива и пакетик с соленым арахисом, я уселся за свободный столик в углу и принялся наблюдать за всем происходящим в кафе. Посетителей было немного – десятка полтора, в основном различные забулдыги, однако попадались и вполне приличные люди. Похоже, многие заглядывали сюда после работы, кто по привычке, кто снять стресс, кто – просто за компанию. Я, попивая пиво, осматривался. Из всех посетителей меня заинтересовали четверо. Это длинный человек с большими руками и сильнолысеющей головой и глазами-буравчиками, он

слишком любопытствующе зыркал глазами за столиком. Затем невысокий мужчина с небольшой, аккуратно остриженной бородой, в цивильном дорогом костюме и при галстук. Всем видом напоминающий преуспевающего коммерсанта. Ему бы в дорогу ресторанах сидеть и валютных путан обхаживать, а не какую-то помятую шалаву. Не вписывается, короче, в пейзаж. Третий – сравнительно молодой парень, с красным испитым лицом, бегающими глазами, сидевший в одиночестве за столом, на его шее висела массивная золотая цепь, через лоб шел неровный пересекающий левый глаз шрам. Видок такой, что любого зарезать может. Внешность бывает обманчива, травмы, бывает, получают и при «асфальтовой» болезни. Ну и последним объектом, привлечшим мое внимание, оказалась молодая девушка лет где-то двадцати, если не меньше. Белокурые, коротко стриженные волосы, темные глаза, приятное личико, хорошая фигура. Этот объект заинтересовал, скорее, как случайный объект желания. Я сильно пожалел, что мне не на десяток лет меньше. Эх, где мои двадцать, пусть с небольшим лет. Хотя, говорят, я и сейчас еще ничего. Только блеска в глазах стало меньше да куража поубавилось. Или это только кажется?

Честно признаюсь, я почти не надеялся обнаружить что-либо, связанное с делом, особенно в первый же вечер. Это было бы слишком. Не зря, наверно, не везло ни в какие лотереи. Свой поход в «Акву» я считал не более чем рекогносцировкой – прийти, осмотреться, а потом видно будет.

Посидев, посмотрев по сторонам, я несколько заскучал. Да и девушка интересовала меня все больше и больше. Однако она явно была чем-то недовольна и на мои взгляды реагировала не слишком одобрительно. Это не радовало. И все-таки намерение познакомиться победило. Это, похоже, судьба, обычно на такие знакомства у меня не хватало духу. Я встал, подошел к ее столику и произнес банальную фразу:

– Девушка, вы не скучаете?

– А вы что, хотите развеселить? – вскинулась она.

– Готов попытаться! – улыбнулся я.

– Попытайтесь где-нибудь в другом месте, – отрезала она.

– Ну как хотите, – развел я руками и отошел. Когда отходил, мой взгляд скользнул по столу, за которым она сидела. Какой-то знак, вырезанный на крышке, на долю секунды привлек мое внимание. Я не сразу понял, что это такое. Отошел, снова сел за свой столик. Девушка встала и вышла. Минуту спустя поднялся и направился к выходу бородатый «коммерсант», и почти сразу поднялся «браток» со шрамом.

И тут до меня дошло, что было вырезано на столе. «Звезда в круге» – знак сатаны. При других обстоятельствах я бы не обратил на это внимание, но сейчас... Черт! Тьфу ты! Не того вспоминаю. Вторую кружку пива выпить я так и не успел. Выскочил на улицу. Сквозило. Я поехал. Куда же эта девица направилась? Осмотрелся. Увидел спину бородатого «коммерсанта». Невдалеке маячил тот, со шрамом. Он никуда не шел, а стоял и курил на автобусной остановке. Непросто принять решение, когда один идет неизвестно куда, другой стоит, а дама вообще не видна. Или кто это там вдалеке шагает? Неужто моя давнишняя «неприступная крепость»? И тут из кафе вышел длинный и лысый человек. Он огляделся, сплюнул и пошел именно в ту сторону, куда шла девушка. Точнее, я думал, что это шла она. Надо было принять решение. И я решился. Вы, увы, меня простите, бородатый и со шрамом, не в ту сторону вы идете! Глядишь, встретимся еще! И пошел за длинным. Если интуиция подведет, то больше ей верить не буду! Ох уж эти осенние ночи! Неприятная тяжесть увядания и спокойная философия романтических размышлений. Все в кучу. И радость, и печаль, тоска и надежда. Самое странное, что я не испытывал чувства страха. Только азарт. И злость. И надежда на правильно взятый след. Почему-то была такая надежда.

Девушка шла на значительном расстоянии впереди. Я мысленно выругался по поводу плохой освещенности улиц. Мэрия могла бы позаботиться о том, чтобы фонари горели хотя бы через один. А так освещал улицу свет из окон, горящих фонарей не имелось.

Впереди маячил длинный, он шел неторопливо, но в том же направлении, что и девушка. Ступал он тихо. Особенно для такой здоровой фигуры. Я, конечно, тоже шел тихо. Тут девушка свернула в переулок, длинный – за ней, я ускорился, боясь потерять их из вида. И вовремя. Она как раз входила в подъезд. Я напрягся, если длинный пойдет за ней, то придется бежать со всех ног. Подумал, что если бы у меня имелся мобильный телефон, то вызвал бы подкрепление. Но чего нет, того нет.

Длинный прошел мимо подъезда, в который вошла девушка. Похоже, паника оказалась ложной. Я даже не знал: огорчиться или радоваться этому. Решил подождать, а то вдруг длинный вернется. На втором тоже вспыхнул свет, в оконном проеме четко вырисовывалась фигура девушки.

Сзади слышались шаги. Я обернулся, но опоздал. Удар чем-то зеленым пришелся прямо в лоб.

#### 4

Я пришел в себя. Потрогал лоб, рука сразу слиплась от крови. Рывком поднялся, вокруг никого. Лишь звезды сверкали в небе. Что я здесь делаю? Ах, да! Девушка! У, дьявол! Скользнул взглядом по часам, без сознания я был не более трех минут, а скорее еще меньше. Голова гудела, меня слегка пошатывало. Но надо спешить, а если убийца уже проник в квартиру, где живет девушка. Проверил наличие пистолета, к счастью, он не пропал за время, пока я был без сознания. Подбежал к подъезду, сунул пистолет в карман, заранее сняв его с предохранителя. Если что, буду стрелять, не вынимая пистолета из кармана плаща. И тут слышался крик. Кричала девушка. Страх и боль были в ее крике. Я чуть не снес входную дверь, почти взлетел на второй этаж. Крик раздавался из-за неплотно прикрытой двери. Я ворвался в квартиру.

Давешний бородатый «коммерсант» с большим кухонным ножом приближался к кричащей девушке. Она была уже ранена, из раненого плеча и из порезанных рук обильно сочилась кровь. Когда я вбежал в квартиру, бородатый обернулся. И я ударил. Ударил ногой в пах, а когда он согнулся, добавил коленом в подбородок, а рукоятью пистолета по затылку. Противник хыкнул и завалился на пол, потеряв сознание.

– Ну, все, все... Успокойся! – подбежал я к зарывавшей девушке. Она, почти обессилев, прильнула к моему плечу, всхлипывая. Я пытался ее успокоить. Потом произошло то, чего я никак не ожидал, считая, что опасность уже позади. Дверь распахнулась от мощного удара ноги, и на пороге возник длинный с обрезом охотничьего ружья в руках. Растерявшись, я не сразу среагировал. Длинный нажал на курок. Толкнув девушку, я вместе с ней повалился на пол. Грохнул выстрел, заряд картечи, зацепив мне бок, ушел в стену. Кисло запахло порохом. Второго выстрела я ждать не стал, выстрелил в ответ. Не попал, но заставил врага отскочить. Тогда длинный, поняв, что потерял инициативу и что в пистолете патронов больше, чем в его охотничьем обрезе, выкрикнул: «Прости, брат!» И разрядил второй ствол в своего валяющегося без сознания напарника. Затем бросился бежать. Я поднялся с пола, бок был в крови, да и со лба кровь сочилась, заливая глаза. Но я думал об одном, – как не упустить убийцу.

– Позвони в милицию! – бросив эти слова девушке, побежал за убегающим убийцей.

Выскочил на улицу, беглец находился где-то в сотне метров.

– Стой! Стрелять буду! – крикнул я, кидаясь в погоню. В подтверждение своих слов выстрелил, но не попал.

Бежать с ушибленной головой и раненым боком оказалось чрезвычайно тяжело, немалых усилий стоило заставить себя двигаться. Но это лишь вначале, потом боль ушла на второй план.

Длинный на бегу перезаряжал обрез. Расстояние между нами сокращалось медленно, я в который раз сегодня пожалел, что мне уже далеко не двадцать лет. Но и длинный был не молоденький, зато у него ноги длиннее. Я держался на одном упрямстве. Тут длинному, похоже, надоело бежать. Он укрылся за мусорными баками и принялся выцеливать меня, выставив обрез. Ждать его выстрела я не стал. Начал стрелять сам. Длинный хоть и выстрелил в ответ, но не смог прицелиться и заряд картечи ушел далеко в сторону. Зато я не промахнулся. Одна пуля попала ему в левое плечо, другая – в правое. Он взвыл и выронил обрез. Я подскочил к нему и, приставив пистолет к виску, прокричал:

– А теперь, скотина, ты мне все расскажешь!

## 5

– Мы – слуги сатаны! – хрипел длинный. – Мы приносим Повелителю жертвы, чтобы он смог явиться на Землю и установить порядок.

– Ты мне агитацию не разводи, – хмуро прервал его торжественные перлы я. – Почему вы хотели убить именно эту девушку?

– Ее избрал жребий. Она села за стол, помеченный знаком Повелителя.

– Предыдущие жертвы тоже садились за этот стол?

– Да, – кивнул длинный и расхохотался, потом прервался. – Не понимаю, как вы это вычислили?

– Я и сам толком не понимаю, – пожал плечами я. – Много ли вас, слуг сатаны, всего?

– Этого я никогда не скажу, – усмехнулся длинный. – Сейчас появятся ваши коллеги, меня заберут, психиатры признают, что я ненормальный. Меня посадят в психушку, несколько лет полечат, потом я постараюсь выйти оттуда. У вас же не верят в действительное существование сатаны. Я еще послужу своему Повелителю! Ха-ха-ха!

– Этого я и боюсь, – медленно произнес я. Потом продолжил: – Я никогда не убивал несопротивляющегося врага. И я знаю, что меня будет мучить совесть за столь противный для нее поступок. Но я не могу рисковать жизнями других людей, поэтому приму грех на свою душу!

– Что? – длинный изменился в лице.

Мой пистолет коротко тявкнул.

## 6

– Жаль, что оба маньяка убиты, – сказал майор Никитин. – Это значительно облегчило бы следствие!

– Сами знаете, майор, одного примочил его подельник. А этот уж слишком активно сопротивлялся, я ранен. Взять живым его не удалось! – пояснил я.

– Что вы, капитан! – всплеснул руками майор. – Вы молодец! И будете представлены к награде! Вы герой!

– Спасибо за комплименты, майор! Рад стараться и так далее, – устало улыбнулся я.

Подошла смертельно бледная девушка, которую я спас.

– Я хотела вас поблагодарить, – сказала она.

– Всегда рад помочь красивой девушке, – я игриво взглянул на нее и чуть скривился от боли в боку. – А в кафе вы со мной знакомиться не захотели!

– Ой, извините, растерянно пролепетала она. – У меня просто было плохое настроение. Я и не думала...

– Не оправдывайтесь, теперь-то мы все равно познакомимся. Не так ли?

– Теперь-то точно, – она старалась улыбнуться в ответ, и это у нее получилось.

Я буду сражаться со злом. Пока есть силы, пока не отказывает воля. И я верю, что мы победим. Ведь я – русский православный воин!

## Михаил Тарковский



**ТАРКОВСКИЙ** Михаил Александрович родился в Москве. Окончил МШИ им. Ленина по специальности география и биология. Работал орнитологом на Енисейской биостанции (Туруханский район Красноярского края), штатным охотником в с. Вахта Туруханского района Красноярского края. В 1995 году взял в долгосрочную аренду охотничий участок. Писал стихи. Последние годы пишет прозу. Рассказы и повесть печатались в журналах «Наш современник», «Москва», «Юность», «Согласие», «Литературная учеба», «День и ночь», в ярославской газете «Очарованный странник». В 2001 году вышла его первая книга повестей и рассказов «За пять лет до счастья» (Издательский дом «Хроникер»).



## ОСЕНЬ

Ничто так не изматывает, как сборы на охоту. Казалось бы, все уже приготовлено, собрано, увязано, громоздятся в сених мешки и ящики, и вдруг выясняется, что нет какой-нибудь пробочки от бензобака, и тогда начинается.

- Тук-тук.
- Да-да!
- Здравствуй, Галь.
- Здравствуй, Миш.
- Как дела?
- Помаленьку.
- Мужик где?
- В мастерской.
- Тук-тук.
- Да-да!
- Здорово, Петрух.
- Здорово.
- Как дела?
- Помаленьку.
- Так-так.
- А что хотел?
- Да вот, в тайгу собираюсь – крышечку ищу.
- От бачка?
- От бачка.
- Была у меня крышечка, да Вовке отдал – он в тайгу собирается.

Проходишь по раскисшей от дождей деревне полдня, так и не найдя крышечку, устанешь, как пес, а по дороге к дому встретишь какого-нибудь Генку-пилорамщика с трехлитровой банкой, который скажет тебе, положив беспалую ладонь на плечо:

- Плюнь ты, Миха, на эту крышку. Дерни-ка лучше браженции.

Дернешь браженции, и сразу оживет и зашевелится плоский серый Енисей с торопливой самоходкой, солнце поведет золотым лучом из-под тучи, осветив высокий яр с пожелтевшей тайгой, и сама собой придет в голову мысль: «Возьму-ка я лучше бутылку да зайду к Толян».

– Молодец, что зашел, – обрадуется Толян, – а то эти сборы уже в печенках сидят. Обожди – рыбы принесу.

Посидишь с Толяном, закусишь малосольной селедкой, поговоришь о том о сем, о делах, которые как ни старайся – все на последний день останутся, глядь – давно уж темно и домой пора.

- Не забудь, – скажет Толян, поднимаясь, – фуфайку. В прошлый раз оставил.

– Вот голова дырявая. Столько дней в старой хожу. Спокойной ночи, – возьмешь фуфайку под мышку и выйдешь в темноту. Утром, готовясь к продолжению вчерашних поисков, без аппетита попьешь чаю, наденешь сапоги, накинешь пропавшую фуфайку и выйдешь из дому, раздумывая, к кому бы направиться. А рука нащупает в кармане круглый железный предмет – крышечку от бачка.

В ту пору весь год у меня проходил в заботах – то лес несет – грех не поймать, то надо избушку срубить, то мужикам с сеном помочь, и я всегда с надеждой ждал осени, чтобы добраться до книг. Из города мне прислали их целую кучу, часть я отобрал в тайгу, уложил в большой, с железными уголками ящик. Были там книги по философии, по истории, чужой, взятый под честное слово Бердяев, Марсель Пруст, Хлебников, Леонид Андреев и многое дру-

гое, в частности, прекрасно изданный сборник стихов Бухалова с автографом. В том же ящике лежало еще кое-что из ценных, более прозаических вещей: пульки для тозовки,<sup>2</sup> батарейки, приемник. Что ни говори – собрание своеобразное, – посмеивался я, гадая, вытерпит ли, к примеру, глянцеви́тый Набоков соседство запасных портянок, и с нетерпением представлял, как в какой-нибудь дождливый день с раскисшим снегом и не приятно теплым ветром, залягу на нары и нащупаю на отяжелевшей полке корешок, как потяну его, и при этом соскользнет и свалится на меня соседняя книга, потом еще одна или две, и как я, не спеша, вы беру какую-нибудь одну, небольшую, в крепком переплете и открою первую страницу.

Осень шла хорошо. После дождей, на руку нам поднявших воду на Вахте, установилась ясная погода с задумчивым и студеным северным ветерком, с ночной коркой на лужах и застывшей грязью в ледяных стрелках. Утро отъезда выдалось холодным и таким туманным, что едва видны были камни на берегу. Долго подходила, тарыхтя, невидимая самоходка, наконец гуднула и отдала якорь, громыхнув цепью.

Прибежал Толян – сказал, когда ждать трактор. Лицо его было озобоченным – в последние дни все не ладилось. То пошел дождь, едва начали смолить лодку, то выключили свет, когда собрались подварить отвалившийся ус к ограждению для мотора.

Пришел трактор с санями, мы погрузили на них мешки, ящики, бочки и в последний раз прокатились по дороге. При выезде из очередной ямки, по края заполненной булькающей жижей, чуть не упала бочка с бензином, которую Толян удержал, вскрикнув: «Куда! Постой!»

И вот на берегу уже чистого от тумана Енисея стоят возле горы груза несколько человек, скулят привязанные собаки, а на воде чуть покачиваются две длинные, остроносые, черные, как головешки, деревянные лодки. Вот и все. А дальше – лиловый дымок за мотором, длинная коса и поворот. А за поворотом минеральная синь бахтинской воды, рябь бегущей гальки под бортом и внезапно остановившийся Толян. Подъезжаешь к нему тихо и осторожно, чтобы не утопить сидящую по самые борта лодку, так тихо, что слышен отдельный стукоток каждого поршня, вопросительно киваешь, а он кричит:

– Да заглуши ты его, – и достает из рюкзака бутылку спирта. И появляется кружка, пахнущий пекарней белый хлеб, рыжая стерлядка в газете, и тепло из желудка расходится по всему телу, перерастая в ощущение ровной и долгожданной свободы. Вот дрогнули в глазах и окрепли с новой силой и прелестью кастрюлька с инструментами, коренастая фигура напарника, рыжая лиственница на берегу, и уже получили собаки по шершавой стерляжьей шкурке, и далеко по синей воде угоняет ветер кораблик скомканной газеты.

Ехать долго. Заночуешь где-нибудь у Ганькина порога. Утром встанешь, выйдешь из избушки: падает лист с березки, свистит рябчик. С угора как на ладони виден порог в черных точках камней. Река большая, вид у нее пустынный из-за широких паберег, покрытых жухлой заиндевелой травой.

С каждым поворотом сильнее уклон. Дно видно почти везде – вода очень прозрачная. В зависимости от глубины она имеет разный цвет. По широким мелким перекатам она течет крученой дымчатой пленкой, под порогами бродит по кругу черным стеклом. Поверхность глубокого плеса даже в пасмурный день зеркальная, но, свесившись за борт, сквозь зыбкий иллюминатор своего отражения увидишь в зеленой мгле плиту с трещиной и яркий обломок березы. Помню, поставили мы сеть в одиннадцатиметровой яме, в тени одного скалистого закутка, и, подъехав проверить, были поражены зрелищем: далеко внизу, чудно искаженные зеленоватой водой, под круглыми, как монеты, берестяными поплавами висел десяток в гамачном оцепении замерших щучар.

---

<sup>2</sup> Тозовка – так охотники-промысловики называют промысловые карабины Тульского завода калибра 5,6 мм. (Прим. автора.)

Погода нас продолжала баловать. По утрам на галечные косы вылетали глухари и, неподвижно выгнув шеи, следили за приближающимися лодками. Встречались стаи уже торопящихся на юг уток: крохалей и гоголей. Образовавшийся за семь сезонов охоты Толян называл глухарей петрашевцами, а гоголей Николаями Васильевичами.

Был хороший момент: Толян, пройдя или, как говорится, «подняв» шивёры,<sup>3</sup> лихо сшиб налетевшего Николая Васильевича, а я, идя сзади, так же лихо поймал его почти в сливе, едва не зацепив мотором мрачный камень с развевающейся зеленой бородой.

Надо заметить, что катание по порогам перестает быть захватывающим занятием, как только в лодке вместо чьей-нибудь любознательной племянницы оказывается тонна вашего собственного груза, который желательно довести до участка и не вывалить в какой-нибудь верхний слив Косого порога.

Подъезжая к порогу, издали видишь: там что-то происходит. Кажется, будто отчаянно машут впереди чем-то белым. Привстав из-за груды мешков, глядишь на приближающуюся ослепительную кашу и сбавляешь обороты. Лодка переваливается через волны, ходят борта, как живые. Вот налегаешь на румпель, сопротивляясь большому водовороту, вот огибаешь грозный хвост слива с высокими стоячими волнами и зависаешь под защитой треугольного камня в голубой газированной воде. Вот врезаешься в струю и медленно ползешь по ней, пока наконец не оказываешься со всех сторон окруженным озверевшей водой, вот мотор громко взревет, хватив воздуха, лодку начинает сносить назад, но ты сбрасываешь газ и, вцепив винт в воду, снова, озираясь, двигаешься вверх, вот морщишься от резкого удара – откидывается мотор, и пока он, огрызаясь, ползет по камню, начинает заваливаться нос, но все обходится, и ты, надав газу, успеваешь выровнять лодку, а впереди уже видны две горбатые глыбы, клин упругой воды между ними и масляная гладь плеса.

По плесу во всю ширь медленно плывет рыжая лиственничная хвоя. Плавно спускаются к каменистым берегам пестрые осенние склоны, и вот место, где когда-то передо мной предстала картина, которая и в старости будет волновать меня до озноба: в синеватом воздухе мыс с нависшей елью и далекая нежно-желтая сопка.

Уже нос лодки поравнялся с верхними глыбами, как вдруг из общего рева выпал звук работающего мотора и стало тихо, хоть порог и грохотал во всю мощь. Лихорадочно дергая шнур, я успел заметить и запомнить, как лодка, теряя скорость, на долю мгновения застыла на месте и как дохнуло от этой заминки потусторонним холодком. В тот же миг меня понесло обратно, кажется, я успел только поднять мотор, и развернувшуюся лодку со всего маху шарахнуло середкой о камень. Помню, как она валится набок, как летят за борт веером инструменты вместе с кастрюлькой, как выпрыгивает бочка с бензином, бачок, мешки, и вот уже лодка, колыхаясь, сидит на камне с остатками груза и полная воды, а я вишу снаружи на борту и одной рукой отчерпываю воду уцелевшим ведром. Помню, как упершись ногами в камень помогаю ей сняться, как запрыгиваю, как все отчерпываю ее этим новым и блестящим ведром и как выносит меня из порога навстречу Толяну. Толян одной рукой держит румпель, другой пытается остановить пляшущую у его борта бочку, а сам кричит:

– Все поймал, только сундук утонул!

Мне повезло. О более высокий камень лодку сломало бы пополам, а так она просто скинула лишнее и с моей помощью сошла на воду. Тогда я об этом не думал. Хотя уцелело все – и оружие, и пила, и лыжи, и остальные ящики, а из хлеба получились отличные сухари, сладкие от пропитавшего их сахара, потеря сундука с книгами была для меня настоящим горем. Лучше бы какой-нибудь рис утонул, – думал я и отчетливо видел не занятый обработкой пушнины вечер после неудачной охоты, когда все дела переделаны, сторожки для кулемок заготовлены на несколько лет вперед, все надоело и хочется только одного – живого человеческого

---

<sup>3</sup> Шивёра – участок реки с камнями и сильным течением. (Прим. автора.)

слова. Кроме потери книг, удручал еще и сам позор приключившегося: вроде бы столько лет хожу по Вахте, и вдруг такая промашка. И хотя с виду я был не виноват (сам заглох, дармоед железный), совесть моя была не чиста: слышал же я пятьюдесятью километрами ниже короткий перебой с горючим, но подкачал грушей и успокоился, вместо того чтобы потратить пять минут и вытащить из насоса плитку рыжей краски от бачка, доставившую столько хлопот ни в чем не повинному Толяну и отравившую мне всю осень.

Пережив такое начало охоты, я, в ожидании следующих бед, по семь раз все отмерял, без конца стучал по деревянному и сыпал соль через левое плечо. Толян дал мне приемник, батареек и еще кое-что взамен утонувшего вместе с книгами. Предложил даже взять журналов, но я отказался: не судьба – так не судьба. Мы расстались на берегу у его последней избушки хмурым утром, когда повеяло не сильным, но каким-то сплошным и нешуточным холодом. Пожелали друг другу удачи и пожали руки. Много вкладывается в такое рукопожатие. Пока я отпихивался, заводил мотор, Толян стоял на берегу, а когда заработал винт, махнул рукой и пошел в гору.

Шивёра в устье Тынепа выглядела как серебристая грохочущая дорога с синим хребтом над колючим хвойным берегом. Я поднял ее без приключений. Весь путь томили меня недобрые предчувствия: вдруг медведь разорил лабаз, избушка сгорела или экспедишник топор уволок. Добрался под вечер, ткнулся в красный плитняк берега, привязал лодку за камень и поднялся к избушке. Собаки вели себя спокойно. Дверь была открыта и подперта лопатой, как я и оставил ее весной. Топор лежал под крышей рядом с тазом. Я зашел внутрь. Все было на месте: лампа, связка стекол под потолком, чайник с трубкой бересты на ручке, ложка, блесна на гвоздике. Я заглянул на полку: коробка с лекарствами, пульки в пачках. Рядом с пулями лежал Пушкин – стихи, сказки, пьесы и «Повести Белкина», все в одном старом, без обложки, томе – как я забыл о нем!

Наутро я взял чайник и пошел по бруснику. Накапывал дождь. Из-под тучи тянуло холодком. Я брел по-над Тынепом краем леса. Вниз к воде уходил крутой яр из красного сыпучего камня. В ясную погоду отсюда видна гора с косой вершиной. Я собирал в закопченный чайник темную бруснику и вспоминал, как впервые сюда приехал и как обживал эту тайгу, как строил первую избушку и какое древнее и сильное чувство испытывал, глядя на обрастающий стенами квадрат сырого мха.

Кобель поднял с брусничника глухаря, усевшегося на лиственницу. Я добыл его, повесил на березку, вставив головой в развилку, а когда возвращался обратно, все его плотное пепельное перо было в серебряных каплях.

В далеком детстве мы гостили с бабушкой в Кинешме у тетки, и я хорошо помню, как ранним утром по набережной над Волгой нес мужик на руках, словно спящего ребенка, огромного убитого глухаря... Прадед жил в Шуе и держал псовую охоту, бабушка много рассказывала о его собаках, о кожаных бредовых сапогах, о тетеревах с красными от ягоды клювами и заволжских брусничниках. Из всего этого еще давным-давно и помимо моей воли возникли и остались со мною на всю жизнь окутанный дремучей тайной природы образ России и восхищение людьми, прикоснувшимися к этой тайне.

Помню, еще в первый год охоты не покидало меня ощущение, что я чему-то служу, хоть сам и не знаю чему. Шагая по Вахте на лыжах, обвешанный снаряжением, с понятой, с топориком за поясом, с лопаткой в руке, я представлял себя рыцарем. В мороз на бровях, усах и бороде нарастал куржак и закрывал лицо, как забрало. Когда я спускался из избушки по воду, длинная пешня с плоским лезвием представлялась мне копьем, а заросшая льдом прорубь – веком огромного богатыря, которого я, подобно Руслану, будил уколами копья до тех пор, пока не открывалось темное подрагивающее око, живой хрусталик которого я уносил с кусочком льда в обмерзшем ведре...

Возвращаясь, я гадал, что бы подумал Пушкин, глядя из-за деревьев на мутный просвет Тынепа, на блестящую от дождя крышу избышки, на чайник брусники в моей руке. Мне хотелось сказать ему, чтобы он не волновался, что я буду, как могу, служить России, что если и не придумаю о ней ничего нового, то хотя бы постараюсь защитить то старое, что всегда со мной и без чего жизнь не имеет смысла.

Дождь стихал. «Разъяснивает, – говорил я сам с собой, таская веревочной петлей дрова из поленницы, – завтра утренник будет, поеду на Майгушашу, не забыть капканы – в ручье висят». Запалив костер и присев возле него на ящик, я позвал Алтуса. Он вильнул хвостом, подбежал рысцой и бухнулся рядом. Я положил ладонь ему на голову:

– Ну что, Серый, отпустишь меня когда-нибудь о Енисее книжку написать?

\* \* \*

А может быть, природа – это самый простой язык, на котором небо разговаривает с людьми? Может быть, нам не хватает душевной щедрости на любовь к ней и потому она часто видится нам равнодушной или враждебной? Она кажется нам наивной и бессмысленной, потому что, быть может, мы сами ищем смысла вовсе не там где надо: все стараемся чем-то от кого-то отличиться и все сердимся, что никак не выходит. Может, потому и презираем ее: мол, как можно так повторяться из года в год, что сами стыдимся в себе вечного и гонимся за преходящим? Может, потому пугаемся, глядя, как она столько раз умирает, что к своей смерти относимся неправильно? И обижаемся на нее зря – тогда, когда забываем о главном: что она любит труд, терпенье и не переносит жадности с верхоглядством. Что она, как дикая яблонька из сказки «Гуси-лебеди», говорит торопливому человеку:

– Хочешь получить от меня подарок – съешь сначала моего кислого яблочка...

Вот попробовал ты ее кислого яблочка, и словно чудо произошло, уже не страшно, что иголки плывут, а тебя больше нет: плывите, мои золотые, плывите, да напоминайте нашим детям – кто служит вечной красоте, не стыдится повторений.

## ВЕТЕР

Осенней ночью ее привез ко мне опаздывающий из-за туманов пароход. В двенадцать часов выключили свет в деревне, а я все сидел с лампой, время от времени выходя в темноту и вглядываясь в мерцающий редкими бакенами фарватер. Когда наконец появилась из черноты извилистая россыпь огней, у меня заколотилось сердце, и, набросив фуфайку, я сбежал к лодке. В луче фонарика мелькнули обледенелая галька и кусок кирпича в прозрачной воде. Пароход загудел, замедлил ход, провел прожектором по безлюдному берегу. Я спихнул лодку и, на ощупь заведя мотор, помчался к ярко освещенной палубе. Она стояла у кормовой дверцы, махала мне рукой и, улыбаясь, что-то говорила матросу, держащему ее сумку.

Помню ее холодные щеки, нос, волосы, высыпавшиеся из-под платка и сказанные беспомощным шепотом слова: «Соскучилась, не могу больше»... От нее пахло городом, летом и яблочным шампунем. Под утро я вышел на улицу. Там чуть синел восход с плоскими зимними облаками. Когда я вернулся, она спала, лежа на спине, раскинув волосы, заложив тонкую руку за голову.

Еще помню свою неловкость весь следующий день: оттого, что мы долго не виделись, оттого, что вся она была из другого мира, оттого, что приходилось ей все как ребенку объяснять – настолько она была незащищена перед холодом, незнакомыми людьми и огромной рекой...

То, что я собираюсь взять ее на осень на охоту, почти никого не удивило – в каждом сидела такая мечта, но одни качали головами: «Замаешься ты с ней – вдруг заболеет?», другие усмехались: «Да тебя теперь из избушки не выгонишь», и один только Гена Воробьев, лучший охотник района, говорил с задумчивой улыбкой: «Бери-бери, Мишка, не слушай их».

Но дело было решенным – последние годы мне все больше не хватало человека, который разделит бы со мной окружающую красоту. Обычно с азартом и удовольствием преодолеваешь в одиночку и холод, и усталость, но стоит оказаться в тепле, расслабиться, забраться на нары под треск железной печки и шум ветра, как ощутишь, что давно уже не радует, а лишь дразнит и томит этот ни с кем не разделенный уют.

Груз я увез на «деревяшке» до ее приезда. Прошли очень сильные дожди, вода в Вахте была почти весенняя, и мы поехали на легкой дюралевой лодке. Ударил морозец, вода быстро падала, в тихих местах на камнях голубоватым козырьком висел тонкий лед. После Сухой я посадил ее за штурвал, укутал тулупом и, закурив, наблюдал, как она с детской старательностью объезжает игольчатые хлопья шуги. Все было синим: небо, вода и ее глаза в темных спичках прожилок. Днем пригрело, растаял лед на стекле, и мы, не отпуская собак, попили чаю на берегу, а потом долго тряслись по порогам, и, когда превратились в лед свежие брызги на стекле, возник наконец долгожданный крутой поворот в высоких берегах. Какими родными показались мне красные осыпи перед избушкой, распадок с белой прядью ручья, и с какой благодарностью глядел я исподтишка на ее широко раскрывшиеся глаза, когда из-за мыса выехала освещенная закатом гора с щеткой лиственниц, которую я всю дорогу берег для нее как подарок!

На следующий день пошли дожди, снова стала прибывать вода, и мы поставили сети. Под вечер, когда я копался с мотором, а она чистила на берегу белых тугих чиров, открылось окно в тучах и блестели на солнце мокрые камни в серебристой чешуе и рыжих икринках. А потом посыпал снег, и я пилил дрова бензопилой, и вились метелью опилки, а вечером дул запад, неподалеку с треском падало дерево, скрипела антенна за окном, и я никак не мог заснуть – так странно было ощущать на своем плече ее небольшую теплую голову.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.